

ISS № 0130-3600



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

7

1985



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Поэма любви. Перевела Наталия Соколовская | 3 |
| ГУРАМ ПАНДЖИКИДZE. Песочные часы. Рассказ. Перевел Ушанги Рижинашвили | 11 |
| ДЖЕМАЛ ЧАХАВА. Стихи. Перевели Владимир Равич и Ян Гольцман | 26 |
| ЛАЛИ БРЕГВАДZE. Рассказы. Перевела Виктория Зинина | 31 |
| СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ. Стихи | 50 |
| ДЖЕМАЛ КИРИА. Две новеллы. Перевела Нелли Солод | 53 |
| ВАЛЕРИАН БРОЕВ. Джемал Рашоев. Рассказ. Перевел Александр Златкин | 79 |
| К 80-ЛЕТИЮ К. А. ЛОРДКИПАНИДZE ГЕОРГИЙ НАТРОШВИЛИ. Большой день | 103 |
| НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС | |
| ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Утоление жажды. Очерк | 104 |

7

1985



- АЛЕКСАНДР РУДЕНКО-ДЕСНЯК. На своей земле 121
- ТАТЬЯНА МЕЙЗЕРСКАЯ. Великий путь любви и скорби. Размышления над поэтикой романа О. Чиладзе «Железный театр» . 136
- ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Мысленно воскрешая образ Миколы Бажана.. . 145

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

- ГУРАМ АСАТИАНИ. Как любили в Грузии . 154

РЕЦЕНЗИИ

- ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО. Кто плачет в ночи?.. 180
- МИХАИЛ ГАСПАРОВ, ДМИТРИЙ СЛИВНЯК.
Новое издание классической поэтики . 183

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

- «...СТРАНА, ЛЮДИ — ОДНО ВОСХИЩЕНИЕ!». Из переписки Гуго Гупшперта с Максимилианом Шиком. Публикация, вступительная статья и перевод с немецкого Александра Федорова 187
- МИХАИЛ КОРСУНСКИЙ. Грузинская сказка адмирала Исакова 202

ИСКУССТВО

- ГИВИ ГЕГЕЧКОРИ. Волшебный ковер Зураба Нижарадзе 207
- АНАИДА БЕСТАВАШВИЛИ. Талантливый поиск 211
- ОЛЬГА ДАНСКЕР. Тбилиси — город его детства 216
-
- ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Памяти Кайсына Кулиева 221
-
- ХРОНИКА 215, 222
- КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 224

ПОЭМА ЛЮБВИ

Теперь я знаю: этот старый дом
 в себя вбирает, как заветный том,
 незримую надежду и желанье.
 Ступеней скрип тревожит мирозданье,
 как тишину на чердаке пустом.

Мы жили здесь.

Мы жили здесь давно.

Над лестницей — разбитое окно.

Стекло звенит (мне это все знакомо),
 как будто хочет вырваться из дома,
 как будто хочет улететь во тьму.

Жить в раме отвратительно ему...

И, только этой мыслью одержимо,
 когда машины проезжают мимо, —
 оно звенит...

Здесь лестничный пролет
 набит, как вещмешок набит вещами,
 минувшим, тишиною и тенями.
 Здесь, вырвавшись на волю из тенет,
 летит, едва перил касаясь, локоть.
 Здесь помнит нашу тяжесть, нашу легкость
 крутая лестница,

что, как своих птенцов,
 сажала нас на вытертую спину
 и в том умела подражать дельфину...
 Но чем она была в конце концов?
 Я и теперь не нахожу ответ.
 Что лестница? Обычный ряд ступеней?
 Ряд каждодневных проб и откровений?
 Дорога духа? Путь, где духа нет?
 Конец пути или пути начало?
 Так что она собою означала?
 Не знаю.

Но одно известно мне:



часть лестницы, ведущая вовне,
незрима. И вливается в пространство
лишь из-за нас и только ради нас.
По этой части мы идем сейчас.
И вечности осеннее убранство
колышется. И солнца луч погас.
И далеко внизу остались крыши...
И мы идем все выше, выше, выше...

Еще одна весна

Ночные окна, как больного очи,
вбирали свет луны что было мочи.
И, пьяны этим медом или ядом,
блестели в темноте...

И нашим взглядам
открылось приближение перемен.
Мы видели: менялось время года.
Мы видели, как напряглась природа,
звук, запах и цвета подняв с колен.
И только дней прошедших череда
стояла, как стоячая вода,
в подвале мрачном прорастая илом.
Дух перемен свободно правил миром.
Никто не помнил прошлого. — Все тлен.
Прекрасное или ужасней ада,
оно погасло тихо, как лампада,
задутое дыханьем перемен.

Итак, настали дни, когда весна
не может сладить с пагубным порывом.
Становится пальто невыносимым,
Душа — капризной, как дитя со сна.

Настали дни, когда оставив дом,
народ бредет по улицам без цели.
И что-то напевает еле-еле
и думает при этом о другом.

Без робости входил народ в метро,
с надеждой вновь подняться на свободу.
И, как вином, он согревал нутро
от света к тени резким переходом.

Людей пьянила быстрина огней,
загадочная чернота тоннелей.
Привычный быт? — Да где он, в самом деле!
Жизнь наверху? — Да полноте о ней.

С народом вместе опускались: лень,
заботы, мысли, имена и даты...
Движение влекло его, как тень,
вслед за собой. И как Вергилий — Данте.

И все же в центре мира был народ:
его обличье, голос, поведение.
Их изменял времен водоворот.
Но им не изменило провиденье.

...Твое письмо замешкалось в пути.
Обострено, как шепот — тишиною,
оно металось где-то над странною,
у вечности зажатое в горсти.

А он все ждал. И ждал бы до черты,
пока возможно ожиданье это.
Пока из ожиданья черноты
не показала б спину глыба света.

Ну, а письмо, где слезы, трепет, страх
дышали ощущением предела,
мерещилось ему в чужих руках.
Оно на волю вырваться хотело...
Не шло,

не шло,
не шло
твое письмо!

А может быть, уставшее, как птица,
оно решило с облаками слиться
и стало белым облаком само.
А может быть, уставшее от бурь,
оно, как синий цвет, влилось в лазурь.
А может быть, дабы всегда молчать,
на мир легло, как тайная печать...

Он мог бы ждать столетия еще.
Письмо ему ночами стало сниться.
И города тяжелая десница
ему ложилась грубо на плечо.



Настали дни, когда дождей поток,
как щупальца, опутывает стены.
Когда на темя давит потолок
и тяжесть крови не вмещают вены.
И человек уже готов пропасть,
мучительным охваченный томленьем.
И в теле тихо нарастает страсть,
и телу угрожает затопленьем.

В такие дни бессильных и больных
несбыточные мучают надежды.
И все-таки реальность бьет под дых,
слепцам и детям отворяя вежды.
В такие дни природы грудь полна
нектаром, ядом, и вином, и млеком.
И жажда первая утолена
и зверем, и травой, и человеком.
И боль стоит, как стража у дверей.
И ты один за эту жизнь в ответе,
где голосами пойманных зверей
кричат, рождаясь, маленькие дети.

Еще одна весна

(продолжение)

Еще бежали по строке глаза
и не просохли до конца чернила,
когда согрело солнце небеса
и все углы внезапно осветило.

Дух праздника уже входил в дома.
Казался холод порождением бреда.
И забывалась долгая зима,
как будто слово желчное соседа.

Деревья шли гурьбой на водопой.
Менялся облик города и мира:

свобода всех собою покорила
с одной лишь ей присущей прямоюй.



Броженьем крови плоть раздражена.
И жилы ноют ночью. И не спится.
За смертным обессилленным — весна
крадется, как голодная волчица.

Лицо пространства нежность залила.
Сникало зло, в объятых добрых тая.
И по стеклу, как капля золотая,
стекала тихо пьяная пчела.

Природа смертных, в сущности, проста:
народ опять уверовал в Эроса.
Опять соблазном были для народа
свирель, корона, чаша, красота.

На время зимних избежав оков
и наконец-то перестав поститься,
он жаждал отпущения грехов
и новыми спешил обзаводиться.

Пчела дремала в сердце бытия.
В ней сок дремал, насытивший Зевеса.
Казалось, смерть — случайная завеса,
и бесконечно собственное «я».

Жизнь выкипала, точно молоко:
ей времени и места не хватало...
...Как тонкая свеча — из тьмы подвала,
ты выделялась из толпы легко.

О, женственность — тягчайшая из нош...
Откуда мука смертная такая!
Совсем невмочь, а все-таки живешь,
чтоб только душу дотащить до края.

Его письмо ты комкала в руках,
и прятала на грудь, и так смотрела
в часы тоски...

И в пыльных зеркалах
ты изучала собственное тело.

Но тщетно, тщетно...

Отпечатки рук
и губ следы — все, чем была богата, —
все выцвело, все испарилось вдруг,
все время поглотило без возврата.



Сгущался сумрак ночи и дождя.
Угрюмый Цербер заливался лаем.
И лишь во сне — но как неузнаваем! —
к тебе являлся ищущий тебя.

Он был, по сути, тем же, что и ты.
Он был — твоя вторая половина.
Худые, изможденные черты.
Дорожный плащ, дорожный посох длинный.

Он, как слепой, протягивал ладонь.
Подобный жест любое сердце тронет.
И так стоял он. И в его ладони
одна слеза горела, как огонь.

С тобой он оставался только миг.
Ни хлеба не хотел, ни изголовья.
Так он стоял наедине с любовью,
дабы исчезнуть молча, как возник.

Ни звука не добилась ты в ответ.
Дрожал твой гость, не проронив ни слова.
Он сохранял молчания обет.
Он удержал идущий горлом свет.
И тьма за ним содвинулась сурово.

Еще одна весна

(конец)

...И он проснулся, захотелось пить
и он проснулся посредине ночи.
Прервалась сна серебряная нить.
Луна раскрыла медленные очи.

Луна склонялась над лицом реки,
над городом сияла неустанно,

вдруг высветив, как скрытые грехи,
все улицы, все веточки платана.

Повсюду ночь.

На суше, на воде
ее душа нашла себе дороги.
Уснули рыбы. Сон царил везде —
в гнезде, норе, квартире и берлоге.

Соседи спали, недруги, родня.
Все нажитое ими сладко спало.
И чуткая, как тень вблизи огня,
во сне собака цепь перегрызала.

Он воду прямо из-под крана пил,
не отрываясь. Содрогалось тело.
Завеса тьмы заметно поредела,
и сумрак предрассветный проступил.

Ночь отступала. И застал рассвет
простор, похожий на захороненье.
На дне его лежало, как скелет,
погибшей веры хрупкое растенье.

И полетав в невидимом для глаз
высоком небе, среди его свободы
он убедился — и в который раз!—
что все творится волею природы.

О звездный исцарапавшись прибор,
разбившись о небесные каменья,
он услышал музыку откровенья
и примирился с собственной судьбой.

Он убедился в том, что боль его
всего лишь часть одной всеобщей боли,
что мир горит, как стог в открытом поле,
что все охвачены по высшей воле
одним огнем, — и больше ничего.

Ночь отступала. Распадался мрак.
Грядущий день уже виднелся смутно.
Как женщина к возлюбленному — так
во все постели опускалось утро.

Был прост мой сон.
Он был намного проще,
чем сон ребенка или же слепца.
Дышало время, точно листья в роще,
и свет касался спящего лица.
Мы были и счастливы и несчастны.
И это продолжалось без конца.
Вселенная лежала безучастно,
застывшая, как слепок с мертвеца.
Был прост мой сон:
нам так хотелось спать,
с тобой мы были слиты воедино.
Земля была превращена в кровать,
холодную и грубую, как льдина.
Петух сидел в подоле у луны
и безголосым возгласом давился,
и долго нашей смелости дивился —
так были мы собой поглощены.
И, как желанье, распаялась ночь.
Сверкали наши крылья в лунном свете.
И звук произрастал... О, только б эти
бескрайние минуты превозмочь!
Орфея лик являла нам луна.
Он в выдохе струны дрожал, как пламя.
Повелевая мыслями и снами,
струна сияла высоко над нами,
безмолвною слезой озарена.

Перевела Наталия СОКОЛОВСКАЯ

— **К**ОНСИЛИУМ с
большим внимани-
ем обсудил нынешнее
положение вашего боль-
ного.

Давид посмотрел в
направлении голоса, но
лица врача не увидел, с
трудом различив две чер-
ные точки, движущиеся
в молочно-белом тумане.

— Все единогласно
отметили, что дела по-
шли на поправку.

Из молочного тумана
медленно выплыл розо-
ватый овал. Давид узнал
знакомые контуры лысой
головы главврача боль-
ницы Михаила Тевдорад-
зе. Две черные точки, до
того бессмысленно блуж-
давшие в пространстве,
обрели наконец принад-
лежавшее им место в ро-
зоватом овале.

— Мы решили отпу-
стить вас домой и про-
должить лечение на ме-
сте. Все, что необходимо
было сделать в больни-
це, мы уже сделали. На-
добно в аппаратуре
этпала. Медикаментозное
же лечение и массаж
дадут в домашних усло-
виях гораздо больший
эффект, к тому же семей-
ная атмосфера является
источником положитель-
ных эмоций.

«Конец уже насту-

Гурам ПАНДЖИКИДЗЕ

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ



Р а с с к а з

Перевел
Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

пил», — заключил Давид и закрыл глаза.

— Одним словом, дела явно идут на поправку!

На сей раз голос главврача донесся уже из ^{из}далекого далека. Однако фальшь в его интонации Давид все же уловил. Лучше всякого врача знал он, что с ним происходит на самом деле и о каком «улучшении» может идти речь. Правда, все это старый академик произнес про себя, однако свой голос, с иронией изрекший слово «улучшение», был услышан им совершенно явственно.

«Не хотят, чтобы я умер тут».

«А может и сын мой не желает, чтобы я скончался в больнице».

«Сказать по правде, и мне больше улыбается умереть под крышей своего дома...»

— Итак, договорились, завтра утром мы перевезем вас домой.

Но погружившийся в раздумье Давид уже не слышал главврача.

Испугался ли он? Честно говоря, не очень. Может, он смирился со смертью из-за возраста? Или болезнь облегчила наступление конца?

Говоря начистоту, до сей минуты Давиду даже в голову не приходило, что эта болезнь может закончиться смертельным исходом. Лишь теперь ему стало понятно, что спасения нет. Но душевного равновесия не утратил и сам дивился своему спокойствию. «Только-то и всего?» — подумал он, и на губах его мелькнуло подобие проницательской усмешки.

Главврач замешкался—не желает ли, дескать, больной сказать что-либо, но обескровленные губы Давида вновь приняли прежнее выражение.

Главврач кашлянул. Говорить что-нибудь еще он не намеревался, зная по опыту, что излишние разглагольствования лишь усилят подозрения больного.

— Кажется, спит!

Давид узнал голос сына.

«Так значит и Тенгиз был здесь?» — он с трудом разлепил тяжелые веки. Сначала ничего не увидел. Комната целиком была заполнена молочным туманом. Но потом различил в нем две пары черных точек. Одна парила в воздухе в конце кровати, другая — справа. Там стоял врач, в конце же кровати — сын.

Додуматься до этого было нетрудно. Ведь и давеча врач стоял справа от него. Даже не видя эти две пары крупных черных точек, Давид по голосам мог определить, кто где стоит.

— Ну что — пойдём домой, папа? — спросил сын, заметив, что отец открыл глаза. — Опасность уже миновала, а все оставшиеся процедуры мы гораздо лучше сделаем дома...

Молчание.

— Кроме того, дома мы будем вместе, и ухаживать за тобой станет проще. И ты почувствуешь себя посвободней.

«Посвободней».

— Ведь правда, дома тебе будет лучше?

«Лучше», — Давид повторял про себя лишь концовки фраз. «Все ясно». Старый академик вновь закрыл глаза. Две пары черных точек растворились во мраке. Молочный туман перешел в черное тягучее пространство.

Молчание. Тягостное молчание.

Главврач и Тенгиз окаменели на месте. Первый опасался, не огорчил ли он ненароком академика. Врач знал: через несколько дней того не будет в живых, однако его авторитет и общественное положение все же давили на него. По своему многолетнему опыту он знал, как легко в Тбилиси возникают сплетни и каких гигантских масштабов достигают они благодаря неумейной фантазии иных любителей посудачить.

— Если тебе не хочется домой, можешь по-прежнему оставаться здесь! — чтобы окончательно рассеять подозрения, произнес сын.

Молчание.

«Опять заснул», — заключил Тенгиз.

Главврач знал, что академик не спит. Знал он и то, что провести Давида будет нелегко. Назвать его стариком язык не повернется, более того, по виду ему ни за что не дать семидесяти лет. На самом же деле ему все семьдесят три. Держался он довольно бодро, хотя последние пять лет часто болел. Мышление ясное, не по возрасту молодое. Любые новации он воспринимал с полуслова, что весьма облегчало ему общение с моло-

дыми учеными. Жить иллюзиями было не в его правилах. Вот и сейчас он тотчас же понял, какая беда с ним приключилась.

— Отец!

Молчание.

— Отец! — Тенгиз беспомощно оглянулся на главного врача.

Михаил Тевдорадзе подал ему знак удалиться и оставить больного в покое.

Хотя глаза у Давида были закрыты, он словно бы разгадал жест врача.

— Какая сегодня погода? — внезапно спросил он, не открывая глаз.

Изумленный главврач остановился на пороге и вернулся в палату, полагая, что ослышался.

— Какая сегодня погода? — повторил вопрос академик.

— Прекрасная! — отозвался главврач.

— Какое сегодня число?

— 25 сентября.

— Отлично.

— Что вы сказали, уважаемый Давид?

— Отлично, говорю.

— Ага! — многозначительно протянул Михаил Тевдорадзе, хотя никак не мог взять в толк, почему это отлично, что сегодня 25 сентября.

— Утром отвезите меня домой как можно раньше, часов эдак в десять, если нетрудно.

Давид вновь приоткрыл веки. На сей раз в молочном тумане он различил два негатива.

— Ладно, отец, ровно в половине десятого я буду тут! — произнес один из негативов.

— Не беспокойтесь, к восьми часам все будет готово. Я провожу вас до дому и там же назначу курс лечения.

Второй негатив повернулся.

Внезапно в фотолаборатории выключили свет, воцарился мрак и оба негатива исчезли.

Давид прикрыл глаза. Теперь он плыл в черном пространстве. Впрочем, оно было не совсем черным, это пространство, во всяком случае, не подавляло.

Прошло довольно много времени с того момента, как он услышал слабый скрип закрывшейся двери. Ни о чем

определенном Давид не думал. Лишь обрывками в лову приходили несвязные мысли.

«25 сентября».

«Самый любимый месяц... сентябрь... и октябрь. Ничто не может сравниться с этими месяцами».

«Сколько дней я еще проживу?»

Внезапно в окно ворвались звуки песни. Пели хорошо, хотя чуть-чуть протяжно. Так, как это свойственно пьяным.

«Хм! — Давид горько, с сожалением покачал головой. — Сколько раз в молодости доводилось с песней проходить мимо этой больницы. Откуда мне было знать тогда, что здесь может умирать кто-то!»

Академик оборвал мысль и прислушался к песне. Она постепенно отдалилась и наконец совсем угасла.

«Ребятам, видно, лет по восемнадцать-двадцать, — заключил Давид. — Голоса совсем еще юные, ломкие».

Некоторое время он ни о чем не думал. Попытался даже уснуть.

«Неужели это и есть ожидание смерти? — подобно электронскре пробежало в мозгу. — Нет, ожидание это облегчается моей помощью. Все это оттого, что я уже не в силах подняться, двигаться, работать... Облегчается болью...»

«Я настолько беспомощен, что у меня ослабла даже способность ощущения ужаса. Нет сил представить, что ожидает меня».

Давид обеими руками уперся в железные края кровати и с превеликим трудом вскарабкался повыше. Чуть помедлив, он перевел дух и поправил подушку. Два эти неловких движения так утомили его, что сердце едва не выскочило из груди. Отдышавшись, открыл глаза.

В фотолаборатории вновь включили свет. Вся комната стала похожа на огромный негатив, стереонегатив.

«Скольких обрадует моя смерть?!» — горько подумал он и вспомнил в первую очередь своего заместителя Гоги Харашвили.

Но почему же именно Гоги Харашвили? Ведь тот называл Давида Иашвили своим любимым учителем? И ведь это он в неделю четыре раза непременно наве-

шал его дома с букетами цветов. С особой любовью относился к супруге Давида, называл ее второй матерью, духовной матерью. А когда Кетеван скончалась, Гогини на шаг не отходил от скорбящего академика и Тенгиза, принимая соблезнования, как родной сын. На кладбище с покойной попрощались сначала Давид, затем Тенгиз и ближайшие родственники. А следом за ними к гробу подошел Гог Хараишвили. Он слегка нагнулся и нежно поцеловал усопшую в лоб, потом вытер платком заплаканные глаза и, взяв академика под руку, бережно отвел в сторону, подальше от могилы.

Давид Иашвили с самого начала знал ему цену, но ни разу не выказал своего отвращения к этому человеку, служившему ему, как верный пес.

Давид почувствовал себя плохо в своем кабинете. Он побледнел, ноги у него подкосились. Его уложили на диван. Сотрудники поначалу подумали даже, что сейчас наступит конец. Надо было видеть, в каком отчаянии ворвался в кабинет Гог Хараишвили, как он растолкал присутствующих и как подложил под голову Давида левую руку. Однако наметанный глаз Иашвили сразу заметил мгновенную радость, которая, словно вспышка блица, осветила лицо молодого человека.

Да, Гог Хараишвили не станет отныне терять даром ни единой минуты. Теперь он все же самый реальный кандидат на должность директора, хотя есть в институте три-четыре человека гораздо более достойные.

И в больницу он приходил в день два раза с цветами, буйволиным мацони, отборными фруктами, читал Давиду газеты, пересказывал городские сплетни, плакался, что без любимого учителя институт совсем опустел.

«Он знал, что меня навещают президент и вице-президенты академии и мне ничего не стоит замолвить за него словечко. Хараишвили давно понял, что мне отсюда живым не выбраться. Но своим подчеркнутым вниманием убивал сразу несколько зайцев: обеспечивал мою рекомендацию, в глазах института упрочивал за собой репутацию отзывчивого человека и тем самым оправдывал свое давнее подобоострастие. Дескать, разве я был подхалимом, просто я воистину и бескорыстно любил нашего академика».

Давид закрыл глаза. Вновь погас свет в фотолабо-

ратории. Исчез и гигантский стереонегатив. Академик задремал. Точнее, сон одолел его, на пару минут как бы отключив от мира. Однако чуть погодя мысли вновь одолели его. Он как будто даже видел серые мысли, которые, словно волки, трусили к нему со всех сторон.

«Председателем похоронной комиссии будет, видимо, президент академии. Нет, не видимо, а наверняка!» Затем Давид перечислил про себя с десятка академиков и профессоров, которые непременно войдут в состав похоронной комиссии. К ним он прибавил еще и секретаря райкома. Одним полагалось быть в комиссии по должности, другим по многолетнему сотрудничеству с ним, третьим по дружбе.

«Само собой разумеется, Гоги Хараишвили будет секретарем похоронной комиссии»,—Давид горько усмехнулся. Его глаза по-прежнему были закрыты, но видел он все так отчетливо, словно смотрел цветной широкоэкранный фильм. Да, Давид воочию видел пышущую радостью толстую тушу Гоги, его лицо, к которому пенкой прикипела скорбь.

«Хоронить меня, видимо, будут из здания института... Вот бы знать, кого искренне огорчит моя смерть?»

Давид задумался. И вновь горькая улыбка мелькнула на его губах. За исключением трех человек, он не обнаружил никого, кто бы искренне оплакал его уход из жизни. Неужели, кроме этой троицы, никто не должен был искренне любить его, человека, имевшего столько знакомых, друзей и учеников, ученого, который взрастил и вывел на широкую стезю науки множество начинающих ученых?

Теперь, на пороге смерти, Давид осознал, что дружба и истинное братство требуют огромной отдачи энергии. Он же с тех пор, как упрочился в науке и стал директором института, лишь требовал внимания к собственной персоне. Даже ближайšie знакомые и друзья превратились в его подданных. Сердце у него было доброе, он умел ценить их и помогать им. Однако в отношении к ним уже не было прежнего дружеского расположения. Его благотворительность больше походила на

Гурам Панджикидзе. Песочные часы.

подающие венценосца. Подобные же благодеяния часто вызывают в человеке не благодарность, а озлобление.

Мысли сменялись одна другой с огромной скоростью. Он отчетливо видел даже полузабытые эпизоды своей жизни, и каждая допущенная ошибка теперь, на пороге смерти, виделась ему поразительно ясно и объемно.

«А стоит ли думать о прошлом? Жизнь уже не повторится. Что было — былем поросло».

Давид попытался отмахнуться от слетевшихся мыслей и вздремнуть, но тщетно. В темноте они наступали со всех сторон, стремясь обогнать друг друга, дабы проникнуть в мозг Давида. Вот одна из них изловчилась, опередила всех, в мозговых клетках академика вспыхнуло бесчисленное множество искр, словно гигантские щупальца осьминога одновременно вцепились в электрические провода.

«Кто порадуется моей смерти?»

Давид страшился этого вопроса, преследовавшего его чуть ли не с того самого дня, как «Скорая помощь» доставила его в больницу. Тяжелая, черноватая, мокрая мысль упрямо пыталась проникнуть к нему в душу. Академик всячески боролся с ней, не подпуская к сознанию. Он знал, что уже сами размышления на эту тему идентичны примирению со смертью. Первоначально же Иашвили ни на миг не допускал, что может умереть.

«Кто порадуется моей смерти?»

Мысленно он произнес имя и фамилию каждого. Затем разделил всех на три группы. К первой отнес тех, кого его смерть, если не обрадует, то и не огорчит. Ко второй причислил тех ученых и просто знакомых, кто хоть и обрадуется его кончине, но внешне этого никак не выкажет. Более того, они примут скорбную мину, произнесут над гробом покойного трогательные речи и выпьют зауспокойный тост, сдобрив его слезами и дрожью в голосе.

Третья группа оказалась не такой уж малочисленной, как ему показалось вначале. Люди, попавшие в эту группу, видимо, выразят свою радость совершенно неприкрыто. У них даже не хватит ума, чтобы как-то замаскировать свое ничтожество и хотя бы через силу сыграть роль благородных людей.

Дверь заскрипела.



«Кто бы это мог быть?»

Мысли мгновенно рассеялись и куда-то исчезли.

Давид с трудом приподнял отяжелевшие веки. ната была насквозь пронизана солнечными лучами, но вокруг него царил непроницаемый мрак. На черном фоне он едва различил фигуру в белом халате.

Сестра вошла в палату на цыпочках, держа в руках шприц. Видимо, она подумала, что больной спит, и уже собралась было уйти, но, увидев его жалко затрепетавшие ресницы, осталась.

— Я должна вам сделать укол, уважаемый Давид!

— Укол? Какой смысл делать мне теперь укол?

Сестра вздрогнула. Необычный голос больного поразила ее. Слова слетали не с губ, а шли откуда-то из глубины его тела.

— Как это «какой смысл»? — попыталась изобразить она возмущение, одновременно отыскав под одеялом левую руку больного.

И сестра, конечно, тоже прекрасно знала, что академику осталось от силы два дня жизни, но всячески старалась принять беззаботный вид. Она натянуто улыбнулась, дескать, ничего страшного, не догадываясь, что Давид не различает ничего, кроме беловатой массы, обьятой мраком.

— Когда будет футбольный матч? — внезапно спросил Давид, когда сестра, сделав укол, вновь укрыла руку одеялом.

— Что вы сказали? — изумленно переспросила сестра.

— Когда, говорю, будет футбольный матч?

— Не знаю, я не любительница футбола. Пойду, узнаю и тотчас же вернусь.

— Буду весьма признателен.

Сестра осторожно прикрыла за собой дверь.

Укол одурманил Давида. Теплая волна обдала тело.

«Через сколько дней я умру? Наверное, дня через два-три. В конце сентября и в начале октября в Тбилиси бывает хорошая погода. Авось, и в день моих похорон не будет дождя. Главное, чтобы Тенгиз не назначил похороны в день футбольного матча. Но догадается ли он? Кто тогда придет на похороны? Во всяком случае,

мужчины сломя голову обегут гроб, быстро выразят соболезнование близким и сразу помчатся на стадион. Кто тогда пойдет за гробом? Лишь профессора-склеротики и женщины...»

Вновь заскрипела дверь.

Давид попытался быстро открыть глаза, но отяжелевшие веки слушались с трудом.

«Зачем, спрашивается, открывать глаза? Я все равно ничего не вижу...»

— Уважаемый Давид, оказывается, у нашей команды две игры на выезде. В Тбилиси матч состоится лишь восьмого октября.

— Восьмого октября? Интересно, какой день восьмое октября?

— Какой день? — сестра задумалась. — Суббота.

— Суббота! — тихо повторил Давид и закрыл глаза.

Сестра некоторое время постояла у кровати, ожидая, не пожелает ли больной сказать что-нибудь еще... Потом, сообразив, что академик погрузился в раздумье, на цыпочках покинула палату.

«Суббота. Нет, до восьмого октября мне не дотянуть».

Мысли вновь наполнили на него со всех сторон.

«Ох, и обрадуются мои сватья! Усядутся вокруг гроба с трагическими лицами. Точно так, как в день похорон Кетеван. Как тогда рыдала моя невестка! Еще немного, и даже я вконец уверовал бы в искренность ее слез. Теперь-то они успокоятся. После сороковин невестка, верно, перевезет родителей к себе. И все они вкупе превратят моего бесхребетного сыночка в домашнюю прислугу... А к панихиде невестушка срочно сошьет платье. Убежден, что она уже заказала его. Как и в тот раз, она никого не посадит рядом с собой, чтобы сразу же оказаться в центре внимания...»

Давид захотел повернуться набок, но не смог. Потом подумал сесть на кровати, но и этого ему не удалось сделать. Наконец он решил нажать на кнопку звонка, чтобы вызвать врача, но тут же передумал... Ноги уже не ощущал.

«Через два дня я, наверное, кончусь. А может, не протяну даже сегодняшнюю ночь. Я слышал, что перед смертью умирающие беседуют с покойными близкими.

Отчего же я никого не вижу и ни с кем не разговариваю? А может, я и вправду не умираю? Но ноги? Куда подевались мои ноги? Нет, конец пришел. Иначе меня никто бы не стал выписывать отсюда. С тех пор, как меня привезли сюда, дела идут все хуже и хуже. Я ведь всегда любил смотреть правде в глаза».

Затем Давид внезапно уснул.

Может, подействовал укол?

Снов он не видел.

Спал Давид на спине, ни разу не пожелав повернуться на бок. Впрочем, даже пожелай он, сделать это ему все же было бы не под силу.

Спал он долго и проснулся от жажды. В горле пересохло, а губы горели.

Давид с трудом поднес руку к потному лбу. Глаза у него были давно открыты, но все равно он ничего не видел.

«Неужели стемнело? Долго же я спал...»

— Как вы себя чувствуете, уважаемый Давид? — вдруг услышал он и удивился.

«Когда он успел войти?»

— Как самочувствие, уважаемый Давид?

Академик узнал голос Михаила Тевдорадзе.

— Пить!

— Воды! — распорядился главврач.

Давид понял, что главврач не один.

Кто-то подложил ему руку под голову и слегка приподнял ее. Разгоряченным губам было приятно прикосновение прохладного стакана. Давид жадно выпил воду. Несколько капель пролилось на подбородок и потекло по шее.

— Хотите еще?

— Нет, благодарю вас.

Давид открыл глаза, но на сей раз не разглядел во мраке даже бесформенной белой массы.

— Как вы себя чувствуете, уважаемый Давид? — в третий раз повторил вопрос главврач.

Академик горько улыбнулся.

— По сравнению с кем?

— То есть как это «по сравнению с кем?» — растерялся главврач.

— По сравнению с пациентом, которого неделю назад выписали из пятой палаты, а вчера похорошили, прекрасно, по сравнению же с нашей сестрой — очень плохо...

— Я всегда ценил ваш юмор...

— Это вовсе не юмор. Хотя само по себе, наверное, неплохо, если человек перед смертью сохраняет чувство юмора.

— Какие могут быть разговоры о смерти, уважаемый Давид! Всего через час мы перевезем вас домой и там спокойно продолжим ваше лечение.

— Через час?

— Да, через час.

«Боже мой! Неужели уже рассвело? Неужели я так долго спал?»

— А теперь, пожалуйста, успокойтесь и соберитесь с силами!

Давид остался один. Некоторое время он пролежал спокойно, ни о чем не думая. Глаза его ничего не видели, но Давид все же закрыл их: давняя привычка — думать, закрыв глаза. На улице усилился машинный гул. Слух у Давида был по-прежнему хорош. Визг тормозов слышался настолько отчетливо, словно машина затормозила у самой кровати.

«Хотя бы склероз у меня был, что ли. Трагедия, когда сознание молодо, а тело — немощное и умирающее...»

«...Некролог, видимо, напечатает «Комунисти». Непременно напечатает. Кто подпишет некролог? Институт и академия? Или будут именные подписи? Непременно именные. Если уж под некрологом Арсенишвили шли именные подписи, то под моим тем паче. Арсенишвили был всего лишь членом-корреспондентом, заведующим отделом. Я же как-никак академик и директор исследовательского института. Само собой разумеется, будут именные подписи; непременно подпишут президент академии и все вице-президенты. А может статья, подпишут и они?»

От удовольствия Давид улыбнулся. Кабы достало сил, он бы еще и потянулся.

«Ну если не они, то обязательно люди с довольно высоким положением.

Интересно, кто напишет некролог? Что за вопрос!

Гоги Хараишвили даже близко никого к себе не подпустит! Может, он и порадуется моей смерти, но некролог напишет воистину хорошо».

Давид задумался, пытаясь вспомнить самое главное, что должно было найти отражение в некрологе. Внезапно его осенило: он вспомнил об адресе президиума академии, который преподнесли ему в связи с семидесятилетием. Ведь в том адресе было отражено почти все, что ученый считал значительным в своей деятельности. Нужна была лишь простенькая операция — заменить торжественные начало и конец адреса скорбными началом и концом. Все это Гоги Хараишвили проделает без особого труда. Академик восстановил в памяти полный текст юбилейного приветствия. Чего зря лукавить, ведь адрес был написан Гоги Хараишвили под его диктовку.

Текст Давиду понравился. Правда, можно было добавить еще кое-какие немаловажные детали, однако он приблизительно знал, сколько места уделит его некрологу газета, и поэтому от добавлений счел разумным воздержаться.

Настроение несколько улучшилось. Давид по-прежнему не ощущал ног и почти полностью утратил зрение, но теперь он уже не думал о своем брэнном теле, а пытался строка за строкой восстановить в памяти текст грядущего некролога.

«Какой эффект произведет он в республике? Если не ошибаюсь, тираж «Комунисти» что-то около восьмисот тысяч. Значит, мой некролог прочтает, по крайней мере, два миллиона человек».

Неволью среди читателей Давид представил себе одного своего соседа, жившего в доме напротив. Он и теперь не знал точно, где тот работает, — обычный делец, денежный мешок. Давид никогда не обращал на него внимания, хотя чувствовал, что сосед ведет себя с ним вызывающе. В его поведении легко читалась навязчивая мысль: «Ну и что из того, что ты академик? А я вот ничуть не хуже тебя». Давид, наверное, никогда бы и не обратил внимания на вызывающее поведение соседа, если бы не один случай. В кои веки Иашвили с грехом пополам купил жене шубу. Но радость бедной женщины оказалось недолгой. Сосед на следующий день

купил точно такую же шубу своей домработнице. Кетеван с того дня ни разу не одела шубы, которая вот уже седьмой год так и висит в гардеробе, покрываясь пылью и мохом.

Давид никак не смог вспомнить имени соседа, хотя отчетливо представил, как тот читает в газете его некролог.

«Ну, хотя бы теперь он поймет, с кем состязался!»

Настроение постепенно улучшилось, боли он уже не ощущал и словно совсем позабыл о близкой смерти. Его целиком поглотили мысли о панихидах и церемониале похорон. Как будто они были судилищем, где окончательно будут взвешены и оценены его деятельность и творчество. Давид представил толпы народу, собравшегося возле его дома, запруженные машинами улицы, длинные очереди у лифта и лестницы, нескончаемый поток пришедших на панихиды и похороны, дабы выразить свое соболезнование близким.

«На соседей, наверное, произведет огромное впечатление приход большого начальства. Хотя бы теперь отремонтируют, наконец, наш замызганный подъезд».

По телу вновь пробежала приятная теплая волна.

«Ордена и медали, естественно, прикрепят к алым подушечкам... Проживи я еще два года, непременно получил бы новый орден к семидесятипятилетию».

В мечтах Давид с сожалением покачал головой. В мечтах, ибо двигаться он уже не мог.

О Дидубийском пантеоне академик не осмеливался помыслить даже в мечтах. Хотя среди похороненных там ученых было два-три таких, что не могли идти с ним ни в какое сравнение как по заслугам, так и по весу в научном мире.

«Не на многое можно рассчитывать, имея сына-рохлю! Теперь вся надежда, увы, на Гоги Харайшвили!»

Давид верил, что секретарь похоронной комиссии ни перед чем не постоит, лишь бы воздать почести своему бывшему учителю и директору.

«В пантеоне Ваке, кажется, добавили один новый ряд. Наверное, меня похоронят в самом начале, возле ворот. Митинг будет и в институте, и на кладбище. Господи, лишь бы не было дождя!»

Давид еще глубже погрузился в дурман блаженства. Теперь вокруг было не столь темно и он словно бы



плыл в каком-то поразительно голубом тумане, туда, вдаль, к золотистому горизонту.

Старый академик уже не страшился смерти. Напротив, он как будто даже торопился распрощаться с миром сим, дабы увидеть издали, какое впечатление произведет его смерть и как будет выглядеть весь церемониал похорон. Погруженный в голубой туман, он отчетливо видел вестибюль института, где на возвышении стоял, утопая в цветах, его собственный гроб, видел почетный караул, освещенные осенним солнцем, полные народу улицы, потоки автомобилей, суету сбившихся с ног постовых милиционеров, лица любопытных прохожих...

«Лишь бы не было дождя, лишь бы не переменялась погода!»

Тончайшие золотистые лучи насквозь пронизали голубой туман, сделав его похожим на сито.

Давид ощутил необычайное облегчение и никак не мог понять, откуда взялась такая легкость. Потом он вплыл в пронизанный тончайшими золотистыми лучами голубой туман и, наконец, услышал то, чего так ждал: едва различимый шепот своей супруги. Шепот этот был одновременно и вблизи, и вдали. Любимый голос доносился откуда-то издали и слышался одновременно над самым ухом.

— Идешь, Давид?

— Иду, Кетеван!

Старому академику уже не действовал на нервы стоявший в углу палаты холодильник, воркующий, как стайка голубей. Не обратил он внимания и на скрип двери. В палату вошли главврач, лечащий врач и Тенгиз. Но Давид Иашвили уже не видел и не воспринимал их. Он со страшной скоростью неся по огненному туннелю, всей душой порываясь побыстрее вырваться из него.



Редакция журнала «Литературная Грузия» поздравляет Джемала Чахава с присуждением ему ежегодной премии Союза писателей Грузии.



Джемал ЧАХАВА

ОТЧИЗНА

И ты однажды к сердцу
С теплом прижмешь меня,
Смогу я отогреться
У твоего огня.
Ты не простишь измены
И через много лет,
Определишь ты цену
Достигнутых побед.
Навеки я прикован
К своей большой земле,
К той, где под отчим кровом
Любовь явилась мне.
Любовь к реке звенящей,
К родному языку,
К дням прошлым,
Настоящим,
К гортанному стиху.
Перед тобой в долгу я,
Ты мой Вселенский суд,
Сумею ли,
Смогу я
Воспеть твой ратный труд?

И твой талант природный,
И доброту твою,
И подвиг твой народный
В стихах я воспою!



О, Грузия,
Омытая росой,
Сверкает лучезарною красой.
Родник
Торит дорогу
Средь камней,
Я вслед за ним
Бегу по склонам дней.
Я словно в зеркало
Гляжу в родник,
Уже не юноша,
Пока что не старик.
А Грузия моя
Уносит вдаль
В потоках родников
Мою печаль.
А радость
Прорастет, как стебелек,
Когда прильнет к корням
Воды поток.

МОНОЛОГ РЕЗЧИКА ПО КАМНЮ

Вновь я к тебе возвратился
И через тысячу лет
Вижу, как вновь возродился
Камня магический свет.
Я не снискал славы громкой,
Крест свой по жизни нес.
Вот я пред вами — потомки,
Стен этих Каменотес.

Помню, как здесь у Хертвиси
В трудный для Грузии год
Жизнью своей поклялись мы:
— Выстоим! Враг не пройдет!

Здесь дорогою ценою
Враг заплатил за набег.
Над крепостною стеною
Кружится ветер и снег.

Камни молчат вековые,
Страшные тайны храня,
Символы веры живые
С грустью глядят на меня.

Вот и вернулся я снова,
И через тысячу лет
Солнцем отчизны новой
Труд моей жизни согрет.

ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ БРАТУ, ЖИВУЩЕМУ В ГОРОДЕ

Опять в Париже,
В Праге или в Риме?
Не уследим мы
За маршрутами твоими.
А странствовать тебе не надоело?
А в чем же провинилось Самегрело?
Скучаешь по напевам ли одишским,
Когда бредешь по улицам парижским?
А о девчонке помнишь сероглазой,
В которую влюбиться мог бы сразу?
Такой девчонки не найдешь нигде ты,
Хоть и объездил, повидал полсвета.
Природа замирает на мгновенье,
Когда идет девчонка по селенью.
А помнишь ли, что матери не спится,
Когда пересекаешь ты границы?
И каждый раз, пытаюсь скрыть тревогу,
Прошепчет мать:
— Ну, в добрый путь!..
Ну, с богом!..
А вспоминаешь ли в рекламном гуле,
Как об утесы разбивается Техури?
На берегах Техури с полным рогом,
Не раз тебя напутствуя в дорогу,
Мы собирались.

Вспомнишь ли об этом?
Крик петухов в тумане пред рассветом...
Ты помнишь, как от боли сердце ныло —
На кладбище еще одна могила...
Здесь мы простились с давними друзьями,
Что некогда делили счастье с нами.
И песни пели грустные немного...
И снова отправлялся ты в дорогу.

Опять в Париже,
В Праге или в Риме?
Не уследим мы
За маршрутами твоими.
А странствовать тебе не надоело?
А в чем же провинилось Самегрело?

ВСЕЗНАЙКИ

Они все знают:
Где к Гюго подкрался грипп,
Когда и отчего же Диоген охрип,
Какого сорта пил вино Омар Хайям,
Как спал Наполеон,
Они расскажут нам.
Им ведом каждый штрих,
Малейшие детали:
Бальзак любил поесть,
Вы этого не знали?
Ходячие архивы пояснят, когда
У Льва Толстого появилась борода.
Рембо? Пожалуйста,
Тотчас чердак найдут —
Бессмертные стихи к нему являлись тут!
Жонглируют, как в цирке,
Вверх летят слова,
От их всезнания кружится голова.
Заранее у них прощения прошу,
Что я о них
Не очень лестно напишу.

ТИХИЙ ЗОВ

На мельницы ветряные
Я броситься был готов,
Только вдруг показалось —



Услышал я тихий зов.
— Братец, ты повторяешь
Мною пройденный путь,
Если свернешь с дороги,
Некому упрекнуть.
Подвиги, что совершал я,
Были во имя любви,
Шел я своей дорогой,
Чист был перед людьми.
Дорого обойдется
Эта дорога тебе!
Где ты найдешь Росинанта
И Санчо Панса теперь?
Но ты судьбу не обманешь,
Жизни цена — грош,
Если на этой дороге
Верных друзей не найдешь.
Битвы совсем другие
Ждут тебя впереди,
Держись, если очень трудно,
Себя пересиль! Победи!
Может быть, прав идальго,
Верю тебе — Дон Кихот,
В битвы за честь Человека
Дорога меня ведет.

Перевел Владимир РАВИЧ

ДЕД

Мельница замшелая со времен Адама
Над рекою горбится, а гляди — жива!
Все-таки вращается трудно и упрямо
Колесо. И движутся камни-жернова.
Утренняя свежесть от села Чурии,
Тихо напевая, едет на арбе..
Красота какая! Слушай, сердце, или
На земле возможно отдохнуть тебе?!
Стиснула затылок давняя и злая
Боль. Однако трубку раскурил опять...
Выплыло светило. Старый пес залаял.
Э-э! Видать, застолья вновь не миновать.

Перевел Ян ГОЛЬЦМАН



Р А С С К А З Ы

ЛЮБОВЬ ПРОСТАКОВ

«...Человек любит и уважает другого, покуда не может судить о нем, и любовная тоска — следствие недостаточного знания».

Томас Манн («Смерть в Венеции»).

ТУМАН в горной деревушке — что тоска женщины: закружится и нет от него спасения, нудно липнет он к низкому, мрачному горизонту, окутывает скукой и дремотой.

Целую неделю утопала деревня в вязком, глухом тумане и, вконец измотанная непогодой, казалось, вовсе потеряла свой облик.

Геологов непогода не удивляла, они видывали и не такое. В брезентовых робах, застегнутых по самый подбородок, они с присущим им упрямством продолжали исследовать марганцевые залежи.

Только они появились, как по деревне пронесся слух, что поблизости, вероятно, будут строить рудник. Что ж, местным жителям подобное не в диковину. Появлялись геологи и прежде, ходили по лесам и оврагам, измеряли, копали, и стоило кому-нибудь из них обмолвиться, что в земле обнаружено черное золото, как деревне приходилось сниматься с места. Сносились старые дома, виноградники, сады и огороды, возвращенные поля.

Люди недоумевали, с тревогой спрашивали друг

друга, что же будет с ними. Переживали больше старики, мечтавшие об одном — умереть на своей земле.

Затихла окутанная туманом деревня, здесь все жили в тревожном ожидании своей судьбы.

Люди сновали, отторгнутые друг от друга глухим густым пространством, и лишь громкие оклики спасительными веревками перекидывались со двора во двор, тянулись по полям.

Идущий из города автобус по-прежнему тарахтел по дороге, каждые два часа выдыхал гарь в молочное липкое пространство, увозя и привозя людей, пренебрегающих непогодой. Мало-помалу продвигалась работа на полях и деревенские стада по привычной протоптанной дороге направлялись в горы, поскольку близлежащие выгоны принадлежали колхозной ферме и личному скоту там делать было нечего.

А туман словно намертво прилип к деревне, все проволгло, отсырело, стены покрылись плесенью.

Геологи умели и работать, и отдыхать. Осеннее равноденствие ощущалось в полную силу особенно сейчас, когда из-за постоянного тумана исчезло ощущение времени, но геологи не меняли привычного ритма жизни.

Вечерами собирались они на крыльце старого каменного дома, у каждого из девяти было здесь свое место, сидели они, рассказывали разные истории, громко смеялись, а нередко и крепкое словечко подбрасывали, заслышав пробуждавшие жизнь в затихших сенокосных полях голоса крестьянок, вперемешку с чавканьем по вязкой грязи копыт возвращающейся с пастбищ скотины. Стадо за стадом плелось по деревне, и долго еще неслись проклятия и привычный окрик «одэ-эдд-о» вслед набившей брюхо животине, с трудом несущей свои отяжелевшие бока, но упрямо тянущейся к придорожному кукурузнику. Ну и расходились же скрытые густым туманом женщины! Обидно — никто не видел висевшие у них на руке корзины с грибами или поздней ежевикой, никто не провожал их завистливым взглядом. Одни волокли, словно собак на привязи, пучки хворостины, другие шли налегке. Перебивая друг друга, они изощрялись в проклятиях в адрес упрямых животных,



и никому не понять было, то ли они в самом деле сердились на эти бессловесные существа, то ли, обиженные судьбой, зло и желчно изливали свои обиды. Но тут же вслед за этим раскатывался в дымном пространстве здоровый, веселый смех, захлестывая туманную, упрямую тишину.

Невозможно, став свидетелем этого праздника раскрепощенной человеческой природы, хотя бы на миг не уверовать в то, что и в повседневной суете есть своя красота, что счастье — это весьма определенное и четкое понятие, а не простая условность, как порой думают некоторые. Но самое главное — в этом шумном озорстве сквозило ощущение того, что люди эти жили там, где они должны были жить, и делали то, что должны были делать.

Все, казалось бы, было уже позади, неизвестность же будущего омрачало опять-таки прошлое, враждебно, жестоко и беззащитно врывающееся в настоящее. Женщина отвернулась от тягостного прошлого, от всех, кого она считала близкими, кто, как она думала, никогда не предаст ее. Но она тщетно пыталась забыть их, избавиться от страшной обиды, и хотя в новом ее пристанище малознакомые люди были добры к ней, сомнения все-таки глодали ее душу. Как бы они ни успокаивали меня, думала она, как бы ни сочувствовали, я унижена, отвергнута своими и по всем канонам не заслуживаю уважения; ну и что с того, что я не виновата, они-то этого не знают, да и не интересуются, а я никогда не смогу ничего объяснить. И то, что они не требуют никаких объяснений, обиженной судьбой женщине казалось скорее странным, нежели великодушным. Она чувствовала страшную усталость и, чем больше времени проходило, тем яснее сознавала, что не надо думать о прошлом.

А ночами ей мерещилось, что мать зовет ее дрожащим голосом. Дважды, всего лишь дважды повторялся ее зов: «Зизи-и-ло!» — и звучал он, как молитва. Как всегда, она как-то странно растягивала второе «и». Но с некоторых пор зов матери похож больше на стон. Стон, который может услышать только дочь.

Лали Брегвадзе. Рассказы.

Долгое ненастье не нарушило привычное течение жизни. Ну и что с того, что соль и мука отсырели, а влажные поленья в тонэ нещадно дымят и потрескивают. Что с того, что деревенские женщины не могут собираться у родника и обмениваться многозначительными взглядами, неужто они не найдут другой способ пошептаться и позлословить? Ни для кого уже не составляла секрета эта история с письмом, доставленным жителем нижнего села женатому брату Зизило, в котором рукой свекра черным по белому было написано: приезжайте, мол, и забирайте свою плоть и кровь. О том же, в чем провинилась сноха, ни слова, только заметил, что вина ее так велика, что бумага не выдержит и сгорит. И поползли по проселку молва да пересуды, насытившись же кривотолками, деревня смолкла и затаилась в ожидании, предвещающем необычную весть или же зрелище. И это ожидание туманом нависло над набрякшими от морозящего дождя днями. На письмо ответа не последовало. Разумеется, родня приехала бы и все-таки увезла бы Зизило. Ну, а что после? Вот что интересовало всех, вот что будоражило. Но события развернулись самым удивительным образом. Настоящее чудо произошло вскорости вслед за посланием письма. Зизило покинула мужний дом, в один прекрасный день встала и ушла. Но недалеко — она нашла приют там же, в деревне, у геологов.

Какой стыд, какой позор! На все село так осрамить мужа! — шептались в проулках старушки, а старики постукивали трубкой по колену, вздыхали, и думы их терялись в глубине уставших, изношенных глаз. Парней в деревне не было, их как ветром сдуло с насиженных мест, одни снимали в городе комнатуху и дышали асфальтной пылью, другие подались в Рачу в поисках больших денег. Лишь молодухи лукаво улыбались...

И никого уже не волновали ни рудник, ни страх того, что пустеют села. Жена ушла от мужа и приютилась у девяти здоровенных мужчин, несмышленная овечка попала к девяти волкам! Боже, убереги нас от всякого зла!

Все внимание погруженного в туман села вертелось вокруг старого адамовых времен каменного дома



с крыльцом, подобно тому как вертится земля вокруг своей оси.

С тех пор, как там поселилась Зизило, на крыльце вечерами уже не слышно было ругани или мужской перепалки. Разговаривали вполголоса, в меру и сдержанно шутили, но самое удивительное, к чему никак не могли привыкнуть в деревне, это — доносящиеся с крыльца звуки гитары. Играл водитель фургона, недавно отслуживший в армии. Порой звукам гитары вторили негромкий свист или же тихое пение.

Нет, это вовсе не сплетни — Зизило в самом деле жила среди девяти мужчин, девяти защитников, и чувствовала себя так, как можно чувствовать, попав в сказку.

Когда ее, обессиленную, привезли с поля, напоили медовой водой и, стараясь не оскорбить ее самолюбия, порасспросили о беде, она поняла, с какими людьми свела ее судьба. Они признали ее своей, отвели маленькую комнатку, передав при этом ключ, чтоб чувствовала она себя свободно и безопасно. Лишь об одном попросили — готовить им обед, а уж о продуктах и воде они позаботятся сами. И заранее благодарили, говорили, что она будет их ангелом-спасителем, освободив от нудных дежурств.

Она согласилась не раздумывая, охотно возилась с хозяйством, готовила еду для девяти неожиданно приобретенных друзей, которые часто беседовали на незнакомые ей темы и так не походили на деревенских мужчин — не кляли непогоду, не сокрушались об урожае, не жаловались на инкассатора Анепо, не выписавшего квитанции, — разумеется, деньги Анепо положил в собственный карман. И об охоте не спорили до хрипоты, и не перемывали кости женщинам.

Когда же Зизило оставалась одна в своей комнате, вот тогда и приходила к ней тревожная мысль о том, что эта спокойная и беззаботная жизнь недолговечна, что по какой-то ошибке природы она попала в мир сновидений. Вот уже неделя отделяла ее от прежней жизни, целая неделя, натянутая, как струна,

звучащая блаженной тихой мелодией. Будущее же обратилось в страх, ибо оно было чуждо и туманно.

Она не пыталась ничего изменить, ведь она пришла к ним, к счастью или же к несчастью, независимо от нее сложилась ее судьба — и она покори-лась. И только время от времени горький вопрос прокрадывался в сердце — неужели муж не ищет ее, неужели он совсем отказался от нее? И тогда она становилась грустной, недоумевала, как раньше, когда впервые почувствовала, что мужнина родня восстала против нее. Тогда, помнится, она села на балконе на покрытую ковром тахту и уставилась взором в чистое небо. Из глубины сердца не к добру выползла грусть, пробуждая во всем ее теле непонятную дрожь, почему-то вспомнились незабудки, мелькавшие в траве за огородной изгородью. Она сложила руки на груди, не сводя взора с бездонного неба, и... нет, она не прокляла день своего рождения, она лишь просила Создателя превратить ее в полевой цветок, чтобы муж искал ее, набрел на цветок, но не узнал в нем свою Зизилю. Она сидела не шелохнувшись, словно в этом состоянии было ее спасение. Она уже не боялась брюзжания старого свекра, не обращала внимания на многозначительные намеки старшей снохи, не ошпаривала рук жгучей крапивой, которую собирали, чтоб набить ненасытную утробу индюков, не таскала с родника пудовые кувшины с водой. Она неотрывно смотрела в ясное небо и уже ни о чем не думала, всем существом своим отдавшись безмерному, похожему на небытие покою. Такое состояние нередко охватывало ее вечерами, когда она, закончив работу, переодевалась, влажным гребнем расчесывала волосы и спешила под сень векового ореха, где терпеливо ждала прибытия автобуса. Муж ее работал на фабрике в городе.

— Ты его очень любишь? — спросила ее однажды соседка. — Что ты все время встречаешь его?

— Муж он мне, конечно, люблю, — Зизилю опустила глаза и виновато улыбнулась.

Не понимала Зизилю, почему все так и норовят коснуться рукой того, что для нее так сокровенно. Неужели им дано право копошиться в ее душе? Всем было до нее дело. Обуреваемые то ли завистью, то ли чувством соперничества, односельчане недоуменно пожимали пле-



чами, когда глаза Зизи́ло зажигались при виде вспорхнувших с листьев рододендрона бабочек или же когда она жалела деревья: ей казалось, что в ветер деревья испытывают непонятное людям смятение. Разве это нормально? Ветер есть ветер, причем тут смятение деревьев? Или же когда ходили в лес за кизилом, кто как не Зизи́ло сидела подолгу под низко склонившейся ветвью, жадно вдыхая запах леса? Какому еще безумцу, как не ей, пришла бы на ум мысль, что влага в глазах быка — это настоящая, так хорошо знакомая и близкая человеку слеза, подлинная слеза одиночества.

Не могли примириться с ее тайными или же высказанными мыслями, многое не могли понять окружающие, и в особенности члены ее семьи. И случилось то, чему суждено было случиться.

Здесь был иной мир — мир городских мужчин, искателей подземных богатств, но и здесь навевал грусть туман. С присущей женщинам наивностью Зизи́ло чуть было не поверила, что во всем виновата непогода — иначе муж непременно отыскал бы ее.

Вечер был мокрый и зябкий, на балконе долго не посидишь. Все собрались в большой комнате, возле печки, сушили влажную одежду, курили. Каждый думал о своем, когда в комнату ввалился Бидзина, старый холостяк, бабник, шалопай и кутила, презиравший всякого, кто, по его мнению, цеплялся за женскую юбку, и швырнул на середину стола сумку с продуктами, привезенными из города, — консервы, сок манго, московскую колбасу, финики и сигареты (под взглядами истосковавшихся по сигаретам мужчины пачки сигарет, казалось, вспыхнули без огня). Пока распределялись сигареты, Бидзина стоял не шелохнувшись с белым аккуратным, как бандероль, свертком под мышкой, так и не придумав, куда его положить. Еще никто не знал, что он привез и подарки для Зизи́ло, ничего особенного, но подобранные со строгим мужским вкусом — гребень шоколадного цвета, недорогие духи «Белая акация», клеенчатый фартук с пестрым рисунком, свежую нугу, а также шпильки с разноцветными головками.

Зизи́ло пришивала пуговицу к робе одного из

геологов, когда Бидзина положил её на колени сверток. Зизило стала разворачивать тщательно упакованный сверток, Бидзина, сидящий в углу на сундуке, опустил голову, и трудно было понять, то ли он стыдился этого неожиданного проявления своей доброты (когда медленно движущиеся руки Зизило откроют взору подарки, все переглянутся, мол, гляди-ка ты на этого молчуна, до чего додумался, вот это мужчина, всех переплюнул!), то ли задумался о чем-то, неведомом друзьям. И только спустя время украдкой окинул он взглядом сначала женщину, затем друзей, у которых на лицах было написано одно желание — хоть бы подарки понравились Зизило. Она же, прижав покупки к груди, молча прошла в свою комнату — вот так, без слов, выразив признательность, боясь, что не выдержит, и тогда все увидят слезы благодарности в ее глазах.

Воцарилась неловкая, многозначачая тишина, даже неунывающий водитель фургона перестал насвистывать свою любимую мелодию. Сигаретный дым поплыл к потолку, раздумье завладело комнатой, отягощенной дыханием мужчин и паром, исходящим от влажных толстовок. Взоры всех обратились к двери, в которую вышла женщина. Слово теперь было за Бидзиной, только он имел право нарушить нависшую тишину, но неожиданно пожилой геолог сказал:

— Все это хорошо, но рано или поздно мы уйдем отсюда, а пока мы здесь, я считаю, мы обязаны позаботиться об этой женщине.

Слова его никому не показались странными. Разве все они не думали о том же? Но заговорить первым никто не решался.

— Надо что-то решать. Все мы видим, какой она человек, защитить ее некому, потому забота о ней — дело чести и совести каждого из нас, — продолжал пожилой геолог.

— А что мы можем... — пожал плечами начальник группы.

— Я свое сказал, у всех у нас достаточно сил и возможности... — сыграл пожилой геолог на самолюбии восьмерых мужчин.

— Да, тут было не до шуток. Каждый из них задумался, и если бы женщина выглянула в эту минуту, она



увидела бы растерянных мужчин. И не удивительно, человек нередко колеблется, прежде чем придет к окончательному решению. Неясность и растерянность — как сестры родные.

Тягостное молчание нарушил водитель.

— Узнаю, кто он, подкараулю мерзавца и дам ему прикурить...

Никто не отозвался на его слова — такое разрешение дела явно не устраивало геологов. Зизилю не жаловалась, никто никогда не видел слез на ее глазах, и сдержанность эта лишь подчеркивала силу ее грусти, столь же тягостной и безысходной, как здешний туман. Нет сомнений, она любила своего мужа, но заслуживал ли он ее любви? Рассуждать об этом не имело смысла. Надо было действовать осмотрительно, все зависело от их такта.

— Хорошо бы встретиться с ее мужем, — сказал Зеро, как обычно при разговоре, сверкнув двумя золотыми зубами. — Поговорим с ним по-человечески, поглядим, если он не басурман какой-то...

— А если басурман?.. — съязвил Ушанги, провел огромной ручищей по лысине и виновато улыбнулся одними глазами, почувствовав неуместность своей шутки.

— Скажешь тоже!.. — Отправишь на тот свет, не дав причаститься!.. — Ну и человек!.. Напомни, расскажу анекдот о басурмане.. — градом посыпалось на него со всех сторон.

Совещались недолго и решили, чего бы то ни стоило, привести сюда мужа, устроить им встречу. Быть может, они тогда и узнают, что стряслось с Зизилю и о чем она молчала с таким мужеством. А вдруг попытка увенчается успехом, помирят они мужа с женой, спасут семью от разрушения, и тогда забота об этой женщине не последует за ними бездомным псом, с чистой совестью покинут они эти края, эту деревушку, жителям которой в будущем все равно придется переехать. Однако, чтобы действовать, надо получить согласие Зизилю.

На стук в дверь она не ответила. Неужели уснула? И не поужинала с ними... Постучали еще раз — и она

тотчас приоткрыла дверь приоткрыла нерешительно, медленно... Наверняка все это время она стояла у порога. Из-под опухших век глядели заплаканные глаза и вся она была похожа на беспомощного, взъерошенного воробышка. Неприкаянность и беспомощность в облике женщины лишь обострили в мужчинах стремление осуществить принятое решение.

— Я на все согласна, — произнесла она. — Вам виднее.

Несомненно, из-за дощатой перегородки она слышала их беседу. Ну и отлично, не надо будет начинать все сначала. Но чем объяснить слезы женщины? Трепетной радостью, вызванной заботой о ней, или тревожным сомнением — а стоит ли возвращаться к уже отрезанной жизни.

Может, слезы — следствие долгого терпения, сожаление по неосуществленной мечте, убогий пепел неисполненной надежды — «прибежит, едва узнает, что я ушла, схватит топор и примчится, как сумасшедший, будет так орать, что сбежится весь свет: я покончу с собой, если ты не вернешься, все равно зарежу, умрешь от моей руки; кто они, эти чужаки, по какому праву они приютили тебя, да и ты как смеешь оставаться с ними? Он будет грозиться, что подожжет дом... От злости у него вот-вот лопнут жилы на шее, он как бешеный набросится на нее, немедленно возвращайся домой, будет кричать он, не оправдывайся, молчи, опусти голову и следуй за мной, как побитая собака...» И она, опустив голову, молча последовала бы за ним, за единственным и самым близким, все бы ему простила.

Но мечты оставались мечтами, они ничего не могли изменить, и Зизилю продолжала жить среди чужих, временно бросивших здесь якорь людей, в руках которых теперь находилась ее судьба.

— Я на все согласна, — потому и повторила она, тем самым напомнив девятерым мужчинам о том, какую они взвалили на себя ответственность и что ошибиться они не имеют права.

Он не обрушился на нее лавиной, не набросился с топором и угрозами, не огласил окрестность безумным криком. Его привели геологи, молчаливого, растерянно-



го, испуганного вынужденной встречей и недовольного этим.

Согнувшись в плечах, глубоко втянув голову в ворот шерстяного свитера кизилового цвета, он сидел, подставив спину плотной стене тумана и спрятав в карманы брюк руки с ввевшейся в них грязью, словно ничего не произошло, словно все это его вовсе не касается, одним словом, на крыльце дома сидел настоящий простофиля.

— Ты знал, что Зизило у нас? — спросил начальник группы, смекнув, что этот человек может еще долго сидеть дубина-дубинной и молчать. Он не удосужился ответить, и потому начальник группы не скрывал своего раздражения, стоял в стороне, в растегнутой робе, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, словно вождь воинственного племени.

— Знал, конечно, знал и все-таки не поинтересовался, как она живет, так ведь?

Он кивнул. Начальник группы окинул взглядом настороженно молчавших товарищей, и взгляд его говорил — я не удивлюсь, если этот простофиля обведет нас вокруг пальца. Не требовалось быть особенно проницательным, чтоб понять, как трудно будет вести с ним настоящий мужской разговор. Начальник группы старался хранить спокойствие, хоть и жаждал лишь одного — пинком выбросить с крыльца этого увальня, чье непроницаемое, не выражающее ни единой мысли лицо не оставляло никакой надежды на то, что женщина может надеяться на его помощь. Начальнику группы с особой тщательностью надо было выверить каждое слово, заботясь не только о судьбе женщины, но и о своих друзьях, чаша терпения которых переполнялась с каждой минутой. Они не понимали, как он может быть спокоен, когда речь идет о судьбе его жены. Безмятежная его покорность с самого начала ставила сторонников серьезной беседы в невыгодное положение. Они имели дело с крепостью, к которой не подступится сам черт. По всему видать, этого молчуна судьба женщины, которая еще вчера была его женой, вовсе не трогала. Однако не это было сейчас главным.

Начальник группы понимал, что сейчас, в эти минуты, ему необходимо сделать все от него зависящее, чтоб злость его товарищей (откровенно недоумевающих, зачем надо было связываться с подобным существом) не переросла бы в открытое столкновение с этим увальнем. Нет, стычки с ним он не боялся, женщина стоила того, чтобы ради нее схватиться даже со всей деревней, но он считал, что лучше решить этот вопрос мирным путем. Встревоженный, повернулся он сначала к друзьям, дайте, мол, время, раз уж доверили мне это дело! Потом обратился к мужу:

— Тебя никто силком не волок, да и умолять тебя не собираемся, нам надо задать тебе пару вопросов, только знай — должен отвечать чистую правду!

Произнес он эти слова и подумал: в самом деле улыбнулся этот лопух или же почудилось ему, может быть, это всего лишь гримаса горечи. Домик был ветхий, и разговор на крыльце проникал во все щели, женщине не надо было даже напрягать слух. Муж Зизило вдруг чихнул, да так смешно, что кто-то даже пожелал ему доброго здоровья. А он в знак благодарности хмуро кивнул головой, попытался что-то сказать, но начальник прервал его:

— Жену свою любил? — он намеренно спрашивал в прошедшем времени, чтоб не говорить о настоящем, о днях, связанных с пребыванием Зизило у геологов, которые прониклись к ней таким трепетным чувством, так понимали ее боль, что представить ее женой этого простофили было им нелегко.

— Говори правду, не стесняйся!

Муж нерешительно кивнул головой.

— И она тебя любила?

Он не только кивнул головой, но горделиво и омерзительно осклабился.

— Любили друг друга и не могли найти общий язык?!

— Почему же, прекрасно находили.

Он поочередно оглядел геологов, как бы говоря: я был хорошим мужем, ей-богу.

— И все же у вас были неприятности?

— Были, конечно же. Сами посудите, какой толк

в семье от такой небережливой хозяйки. Не зря мой отец корил ее. Вот... Согласитесь со мной, что не все знают, что такое семья, — затараторил он неожиданно сорочкой, поводя глубоко сидящими в узких прорезях глазами. Он обращался ко всем одновременно, скользил сторожким, словно поступь кошки, взглядом по их молчаливым лицам, тщетно искал хотя бы долю сочувствия, тоненькую ниточку сострадания. И хотя его слова, бессмысленные, как разлитый по крыльцу туман, и не достигали цели, он все сыпал и сыпал ими, грешил, принимая молчание окружающих за сострадание. Он явился в мир геологов зримым олицетворением несчастий женщины и теперь перешел в атаку на застывших в недоумении мужчин. — Расточительная жена, известно, — убыток в доме и только. Женщина должна знать свои обязанности как свои пять пальцев...

— И все-таки, что тебе не нравилось, говори конкретнее и понятнее, — прервал его начальник группы. — В чем ты ее обвиняешь?

— Скажу... Но то, что ты услышишь, не только мое мнение, но и мнение моего отца. Бедняга все жаловался, что забыл вкус приличного хлеба...

— Что? — удивился начальник группы и в эту минуту еще более стал походить на вождя воинственного племени.

— Вечно жгла хлеб. Так накаляла тонэ, дров не жалея, что до самого вечера приходилось ждать, чтоб тонэ остыло. Ни в чем меры не знает, ущерб от нее вот у меня где, — он наклонил голову и стукнул рукой по морщинистому, загорелому затылку. — Здоровье свое надорвал работой, а она, вместо того, чтоб понять свою вину и извиниться перед свекром, как и подобает настоящей покорной невестке, знаете что заявила? Если вам не нравится мой хлеб, ешьте хлеб из пекарни, слава богу, в магазине его до отвалу. Можно это простить? Скажите, можно?

Никто не проронил ни слова, только во взоре молчащих мелькнуло нечто похожее на сожаление и невысказанная радость просочилась в их душу, скованную тяжелой, как свинец, злостью, замерцала слабым лучом надежды: нет, не была рабыней Зизило, не совсем

она пропащий человек! И пусть она слышит болтовню мужа, узнает правду до конца и только потом потребует ответа, когда позовут ее и она лицом к лицу встретится с ним. А пока — пусть он все выкладывает, этот простофиля.

— Думаете, раз жена сама ушла от меня, так я и виноват? Вовсе нет. Я и перечесть не могу, сколько раз я прощал ее. Одного того только достаточно, что умудрилась она приручить ястребов. Разве не ясно, какая из нее хозяйка?

— Как это приручить? — удивился начальник группы.

— Удивляетесь, да? Вам, городским, все в диковину, я-то это знаю... Сейчас объясню. Если женщина в деревне будет лениться кричать «кыш-кыш», и говорить уже излишне. В день самое меньшее хотя бы сорок шесть раз надо кричать, чтоб спугнуть эту нечисть.

Геологи удивленно переглянулись. За все это время впервые было прервано всеобщее упрямое молчание, и золотозубый Зеро спросил:

— А если ястреба не видно, все равно надо кричать?

— А как же, — не растерялся гость. — Разве об этом надо говорить? Когда ястреб появится и нацелится на твой двор, уже будет поздно... Думаешь, от твоего крика у него сердце разорвется?

И неожиданно канула в пропасть тревожащая геологов забота о женщине, и наивная, но виртуозная, словно неожиданный трюк клоуна, непосредственность гостя вызвала у них безудержный, добродушный хохот.

Начальник группы старался держаться с достоинством, улыбка не коснулась его лица, не дрогнул ни один мускул. Он поднял правую руку, и вновь в комнате воцарилась тишина.

— Короче, нужна или не нужна тебе жена?! — процедил он сквозь зубы. — От тебя, как я погляжу, ничего не добьешься... Говори, нужна или нет?!

Слова эти прозвучали не только как категоричный вопрос, но и как приказ. Сильный, волевой мужчина без всяких проволочек предлагал ему единственно верный путь — и он опустил голову.

Раздражающее, все обесценивающее согласие мужа было бы не лучше его несогласия. Разговор о чувст-

вах был бессмыслен, крепость прерванного союза двоих объяснялась лишь убогими инстинктами, о которых не помнил мужу начальник группы. Неужели женщина была счастлива с этим мужланом? Трудно было представить, что с ним проводила она страстные ночи. Начальнику группы вдруг захотелось наказать за погрязшее женское достоинство не только этого тюфяка, но и каждого здесь присутствующего, чтоб общей болью искупить вину перед женщиной. Решено: сейчас он устроит встречу мужу и жене, и тогда судилище будет торжествовать во всей своей беспощадности.

По его знаку водитель фургона открыл дверь в соседнюю комнату и исчез в ее глубине.

Понял, тотчас понял простак, что пошли за его женой. Лицо его просветлело, он опустил плечи и устался на дверь.

На крыльце вновь воцарилась тишина, взъерошила мысли...

мысли...

мысли, далекие друг от друга, как земля и небо, и все же заключенные в одно волшебное кольцо, заряженные единым зарядом:

«Вот потеха будет, только взглянет — и повиснет у него на шее, оставит нас в дураках, женщина и есть женщина, что с нее спросишь».

«Хотя бы на человека был похож, могу поспорить, может одолжить чужую зубную щетку, чтоб почистить зубы».

«А этот туман вконец осточертел, надо же было, словно только нашего приезда и ждал».

«Стоит увидеть меня, как заплачет, чтоб жалость к себе вызвать, жена мне, небось, хорошо ее знаю».

«Исторический дом, сложен из древнейших камней... Они и станут свидетелями восстановления разрушенной семьи».

«Хорошая женщина, и все-таки простушка, что правда — то правда... Иначе бы не возвратилась к такому».

«Вот-вот стемнеет, а воду еще не принесли».

«Все слышала, что здесь говорилось, хоть бы от

волнения не потерять ей чувство собственного достоинства».

«Думала, не выдержу без нее... Знаю, жалею, забудет, что поступила необдуманно. А может, насмотревшись на городских, на меня и не посмотрит».

«Интересно, что он думает о нашем молчании?»

«Как легко прощают женщины...»

«Неужели этот тщедушный в самом деле работает на фабрике и что-то производит?»

«Интересно, увижу у нее в волосах подаренный мною гребень?»

«Невыносимо быть свидетелем того, как побеждает недостойный».

«Кто знает, добро мы творим или зло, стараясь помирить их?»

В этой задумчивой тишине простак вновь чихнул. Но никто даже в издевку не пожелал ему здоровья, тишина висела над крыльцом, словно проклятие, страшное проклятие.

Чувствовалось, как проходит каждая минута, гулко отзываясь в сердце каждого из них. Женщина поворачивается с новыми друзьями, покинет каменный домик с крыльцом и, опустив голову, последует за мужем, возвращаясь к временно отринутой ею жизни. Так и будет, разумеется...

Только бы скорее, как можно скорее прошла эта тягостная сцена, чтоб не видеть раздражающего самодовольства торжествующего победою простака.

Скрип двери пригвоздил мысли, разрушил все домыслы — на крыльцо водитель фургона вышел один, без женщины, остановился в растерянности, обвел всех взглядом и, поскольку простак не выдержал и спросил: — А где она сама? Не идет? — отрицательно покачал головой.

— Что? Хочет, чтоб я умолял, упрасивал ее?

Он снова покачал головой и, стараясь придать своим словам большую убедительность, произнес:

— Она просила передать: я превратилась в полевой цветок, и пусть он не ищет меня, если даже найдет, все равно не узнает.

Он произнес эти слова и почувствовал, как облегченно вздохнуло крыльцо и желанное избавление смы-

до с него собственническую гордыню бывшего мужа, который так и не понял, принимать эти слова за шутку или же за истину.



БЕЛАЯ СТЕПЬ

С ТРЕЛОЧНИК пил чай из большой чашки, вернее, не пил, а прихлебывал. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что пьет он не потому, что ему хочется пить, а просто так, чтоб растянуть время. Он пыхтел, как кузнечный мех, и при каждом глотке у него мокли кончики взъерошенных усов. Украдкой бросал он взгляд на неподвижную спину и выпирающие из грязного дототканого свитера костлявые плечи мальчугана, прильнувшего носом к оконному стеклу, и сдерживал себя, чтоб не сказать ничего такого, что могло бы еще больше разозлить его. Надо взвешивать каждое слово, подбирать единственное нужное, не то мальчишка заартачится, заладит — увези меня домой, не хочу больше оставаться здесь, тогда... другого выхода он не видит — надо будет собираться в дорогу. А ведь это великое благо, когда есть с кем словом обмолвиться в этом тягучем пространстве. Он свыкся с одиночеством и не бежит от него, но когда рядом сын — совсем другое дело, куда-то проваливается тоска, вызванная бесконечным снегом и бессмысленными гудками запоздавшего поезда. Сын — что заряженное, надежно припрятанное ружье.

Мог ли он подумать, что сын так увлечется этими фигурками, иначе непременно умолил бы ненароком забредших к нему людей подарить деревянных человечков. Как загорелись у мальчугана глаза, когда они поставили фигурки на столе, с каким интересом рассматривал он их! Казалось, человечки и в самом деле играют, а он слушает, затаив дыхание. Интересно, что он понимал в них, ведь молоко на губах не обсохло...

Но что с ним происходит, отвернулся к окну и не оглядывается... Вот ведь есть одна фигурка — с широ-

ко раскрытыми глазами и раздувающимися щеками, кажется, что музыкант того и гляди надорвется. Совсем нетрудно было припрятать фигурку, всего одно движение руки — и все. А сын обиженно молчит и не отходит от окна. Если так уж хочется развлечься, неужели одного человечка мало?

А, может, он и не обиделся вовсе, а просто так стоит у окна, смотрит, как валит снег. Какая же снежная бывает зима в этой затерянной между небом и землей, беспредельной, брошенной на произвол судьбы степи, для которой вся жизнь заключена разве что в мчащихся мимо поездах. Вот выпьет он чаю и тоже подойдет к окну, одно дело, когда вместе с сыном смотришь в окно, и совсем другое — когда в одиночестве, словно бирюк, сопереживаешь этой несхожей ни с чем стихии. Он сейчас же встанет рядом с сыном и, глядя из этого оконца, и о поездах, наверное, будет думать иначе, тех самых поездах, которые в течение ночи — до самого утра — на разный лад нарушали настоенную тишину степи, напоминая, что и он в своей сторожке делает нужное дело, мечтая о живой душе, не зря топчется в этом безлюдье наедине с отмеренными на часы тягучими днями и ночами, наедине с ожиданием и долгими, как протяжное мычание, раздумьями.

Этот сукин сын все так же недвижно, не шелохнувшись, стоит у окна. А природа разошлась не на шутку, валят огромные хлопья. Если долго будет так продолжаться, то в полночь ему трудно будет добраться до полотна железной дороги. Но пока что ему надо ублажить этого паршивца, ведь ничего дороже на свете у него нет. Хороший мальчуган, но замкнутый, весь в мать пошел. Не будь она так красива, откровенно говоря, надо было бы обладать большим мужеством, чтоб жениться на женщине с таким характером. Хорошая вещь красота, она заставляет человека быть терпимее к очень многому. Да, похож на мать, конечно. А разве она плоха?

Он выпил чаю, затем вместо того, чтоб подойти к окну, как он задумал, и смотреть вместе с сыном на снежную круговерть, он дотянулся до булькающей на плите пузатой стеклянной колбы и налил кипятку.

И снова стал пить, прихлебывая, и снова одолели его раздумья. Интересно, что же все-таки обидело сына?

Неужели то, что отец украл, пусть даже такую малость, как одна деревянная фигурка? Неужто собственное дитя станет осуждать его? Ну и ну!..

Признаться, он разозлился, чуть было не закричал на сына: «Да повернись ты! До каких пор смотреть мне на твою спину!..» И еще что-то подобное этому... Но раздумал, неохота произносить даже одно-единственное слово, расслабился, размяк от кипятка — он допивал уже третью чашку! И тут одолела его жгучая тоска по жене, щемящее желание зарыться лицом в ее теплую грудь и замереть... Вот бы она додумалась и сама приехала. Да разве в такой снегопад можно ожидать ее? Эх, какие дни уходят безвозвратно!..

Встал, выпрямился. Уж слишком надулся кипятком, подумал он, и прошелся по сторожке — несколько шагов в одну сторону, затем — в другую. Гулкие шаги острее подчеркнули царившую в сторожке скуку. Потом он вышел. Через запотевшее стекло было видно, как он медленно брел к полотну железной дороги, вскоре слился со снегом и вовсе исчез. Он ходил недолго и вдруг неожиданно для самого себя лег навзничь там же, на знакомой дороге, по которой ходил ежедневно, и снег мягко провалился под ним, точно по контуру тела.

Расскажи ему кто-либо нечто подобное, он не поверил бы, а теперь он сам лежал в сверкающей белизной степи, точно капля в море, и смотрел, как на лицо ему падают тяжелые хлопья. И не существовало более ни расписания поездов, ни обязанностей, ни затаенной честолюбивой радости от сопричастности к миру, ни жены и сына. Ему страстно захотелось остановить отмеренное ему время и, освободившись, отмежевавшись от всего на свете, слиться с белой тишиной степи. И только.

Перевела Виктория ЗИНИНА



И от тяжелой медлительности ремесла
И фактуры понурого плена
Лишь одна быстрота твоих рук и спасла
Умиравший мирок гобелена.



●
Может быть, не ради хлеба,
Имени в людской молве,
В звездное смотрю я небо,
Навзничь лежа на траве?

Где-то, верно, есть страница
С описаньем всех орбит —
Что вокруг чего вертится
И куда зачем летит.

Жалких знаний астронома
Не хочу я обретать.
Будет вечно незнакомо
Свод небесный мне сиять.

Промычит в хлеву корова,
И зашелестят кусты.
Не возникнет больше слово
Из вселенской пустоты.

ВОСПОМИНАНИЕ О СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ

Я занимался волейбольной сферой —
Наискосок бесчисленных бумаг
Двусмысленный старался ставить знак,
Считая, что с обыденщиной серой
Не надобно решений волевых, —
Держи лишь меч дамоклов мер крутых.

Среди болот, лесов, полей и гор
Суровый телефонный разговор
Пересекал безмолвные просторы.
Что проводов начальственная нить,
От ветра трепеща, могла вершить? —
И смело я пускался в разговоры.

ДВЕ НОВЕЛЛЫ

ПЕРВЫЙ ПЕРЕВАЛ

Я не альпинист, и первый перевал дался мне тем более не легко. Каково же было мое изумление, когда на самой верхотуре я увидел вдруг девочку лет пяти. Вместе с отцом она бодро карабкалась по ледяным тропам Кавкасиони. Бесстрашие ребенка покорило меня.

У ПЯТИЛЕТНЕЙ Тамунии Нижарадзе весной умерла мать. Захворала она еще в Нальчике, где служил отец. Тамуния не знала, что такое смерть, однако догадывалась, что мать собирается куда-то очень далеко и, возможно, они долго не увидятся. «Ты только не бойся, — утешила она мать, когда ее ввели в ослепляющую больничной белизной палату. — Если ты уйдешь из жизни, я тоже пойду с тобой».

«Уйти из жизни» — эти слова она слышала от старой дворничихи. Было в них что-то необычное, таинственное — как нежданная-негаданная поездка в далекий большой шумный город.

У матери перехватило дыхание. Она слабо сжала пухлое запястье девочки своей уже безжизненной, восковой, покрытой тонкими синими прожилками рукой, и из глаз у нее покатались крупные, застывающие на щеках слезы.

Тамуния не плакала, уже попривыкнув к мысли, что мать покидает ее. Целый день сидела она, запер-

тая в квартире, и рисовала письма к матери. Рисовать она умела только розы. Серединка у роз всегда была желтой, а лепестки — разноцветными.

Однажды отец пришел раньше обычного. Трижал Тамунию к груди. Он очень старался не выдать волнения, но голос предательски задрожал. «Ушла от нас мама», — прошептал он.

Тамуния не заплакала и теперь, только сердце у нее сжалось — почему, отправляясь так далеко, мама даже не попрощалась с ней?

«Мама ушла насовсем», — объяснила она своим пестрым розам и продолжала рисовать.

Подошло лето...

Воздух стал прозрачным. Небесная синева расстилалась до самого горизонта, а там, на самом краю, ослепительно сверкал Кавкасион.

Отец с дочерью стояли у могилы. «Как легко она свыклась с отсутствием матери, — с горечью подумал мужчина. — Впрочем, что с нее взять! — ребенок, где уж ей понять, что такое смерть...» Но он начинал свыкаться и сам, и это пугало его. Он принуждал себя не думать ни о чем другом, сутулил плечи, но жизнь брала свое, и постепенно следы пережитого стирались в необъятном пространстве памяти.

— Папа, а мамы здесь нет! — вывел его из задумчивости голос дочери. — Мама ушла туда! — пальчик показывал на далекую гряду гор.

В голосе звучал упрек.

«Повезти бы ее куда-нибудь, — подумал отец. — Пусть отвлечется... В конце концов надо жить дальше...»

* * *

В Чегет они приехали автобусом. Два дня прожили в туристской гостинице. Днем гуляли, взявшись за руки. Обошли долину Нарзана, Терскол, Иткол, побродили по Музею боевой славы, по канатной дороге поднялись на «Кругозор» и долго не могли оторвать глаз от величественного Эльбруса, сияющие вершины которого лишь изредка выплывали из белых облаков.

На третье утро они пошли по тропе, ведущей к верховью Баксана. Дорога была нетрудной, но пятнадцать - двадцать километров пешком утомили

бы и взрослого, не то что ребенка. Маленький рюкзак, в котором находились всего-навсего смена белья, полотенце и зубная щетка, поначалу казался Тамуннии легким, но мало-помалу начал оттягивать плечи.

Отец не спешил. Они часто останавливались передохнуть. Тамуннии доставляло удовольствие поковыряться на жесткой земле. Над головой у них расстилалась бескрайняя синева неба, по которой изредка робко проплывало белоснежное облачко, разбиравшееся об одну из вершин, как наскочивший на риф корабль. А солнечные лучи пронизывали все вокруг, заполняли собой прохладу воздуха, колыхались в ней, рождая причудливые миражи... «Мама где-то здесь», — неуверенно подумала Тамунния. Да и впрямь, кто знает, где была сейчас ее мать. Может, вон в том белом облаке... И сама в белых одеждах, с солнечным венцом на голове, смотрит сверху на свою Тамуннию... А может, скользит в этом голубом пространстве, вся прозрачная, в голубом платье, окутанная легким прохладным воздухом...

Устав смотреть на небо, она переводила взгляд на окружающие ее предметы. По ту сторону ущелья сверкал ледник Донгуз-Орун, очертаниями напоминающий скавочного дракона, распластавшегося на плечах угрюмых скал. Языки дракона обвивали черные отроги, как детские руки—загорелую шею отца. Голова чудовища, пронзенного мечом солнечного юноши¹, откинута назад, отверстая пасть источает смрад, вот-вот голова отвалится и с оглушающим грохотом скатится в пропасть, на дне которой из мутно-зеленого бездонного озера выбивается журчащий ручеек.

«Мама где-то здесь»,—думала Тамунния. Может, Донгуз-Орун — это заколдованный замок, в котором высекли не видимые глазу кельи, и в одной из них заточена ее красавица-мама, а вход туда стерегут снежные и ледяные чудовища: или, может, она плещется в мутно-зеленом озере Донгуз-Оруна, в постоянно меняющихся

¹ В грузинской мифологии солнечный юноша-Мзэчабуки — олицетворение мужской красоты, силы, добра.

ся красках которого трудно разобрать что-нибудь определенное...

«Пошли!» — громко произносил отец, и чары рассеивались. Он вешал на спину тяжелый рюкзак, протягивал Тамунии руку, и они неторопливо вступали в мир гор-великанов, исполненный какого-то чудного света и переливов, а душу девочки переполняло нечто торжественное, всеобъемлющее, светлое...

«Если поспешить, мы скоро нагоним маму... — думала Тамуния, но отцу ничего не говорила. — Это мамина тропинка, она прошла здесь только что... Может, ждет меня во-он за тем поворотом...»

«Эх, ребенок еще, вот и забыла так скоро», — думал отец. Он не знал, печалиться ему или радоваться, и на всякий случай не к месту и не ко времени совал ей яблоко: «На, съешь!».

Поздно ночью они достигли взбаламученного веселящимися туристами Северного приюта. Вокруг костра под звуки гитары вихлялись в каком-то диком, первобытно-ритмическом танце заросшие, бородатые, с распущенными патлами парни, остриженные почти наголо девицы в обтянутых джинсах, фанатики путешествий — старики.

Пока отец ставил палатку и кипятил чай, Тамуния обошла весь «приют». Она всматривалась в лица женщин, безотчетно надеясь наткнуться на мать. Одни не обращали на девочку внимания, другие отвечали на ее взгляд улыбкой, третьи чмокали или щипали за щечку. Матери среди них не было, и Тамуния тяжело вздохнула.

Потом они с отцом сидели у входа в палатку, пили чай и наблюдали за танцующими. Небо искрилось бесчисленными звездами. В свете костра мелькали тени, и Тамунию постепенно одолел сон. Во сне со звезд спустилась королева с лучистыми глазами, взяла девочку на руки и начала баюкать. На мгновение Тамунии стало страшно, но от королевы исходил теплый запах матери, и она успокоилась. Когда Тамуния проснулась, на дворе было еще темно. К мирному дыханию отца примешивался слабый шелест ветерка, стройное журчание стекающих со склонов ручьев...

В тот день они никуда не пошли. У Тамунии кружилась голова, как-то непривычно трепыхалось серд-

це. Первый раз в жизни она почувствовала его присутствие... День тянулся нескончаемо. Ей надоело смотреть на снежные горы, на причудливую игру красок в озере Донгуз-Оруна... В полдень раздался какой-то треск, будто выстрелили из ружья. Язык ледника треснул, навис над озером, по мутно-зеленой глади пошли, оставляя за собой круги, легкие волны, поверхность подернулась рябью...

...Тамунии хотелось пить. Она соскучилась по воде, холодной, из-под крана, а отец все поил ее чаем, опасаясь, что от здешней воды у нее заболит горло — слишком студеной. Все же она попробовала. Вода оказалась действительно ледяной — сразу заломило зубы — и с каким-то неприятным привкусом грязного талого снега. Пить расхотелось.

Улеглись они рано, и во сне Тамунии опять привиделась мать. На ней были брюки, обтянутые, как у давешних туристок, за спиной — тяжелый рюкзак, в руках — палка, на ногах — пыльные ботинки. Она нагнулась, коснулась теплыми губами щеки дочери и удалилась. Медленно пошла по витой тропинке, теряющейся в сверкающих белизной льдах.

Отец поднял ее чуть свет. Ночной сумрак уже рассеивался, одна за другой гасли осиротевшие звезды. Не хотелось вылезать из теплого спального мешка, от утренней свежести по телу пошла гусиная кожа, но она беспрекословно выполняла все, что говорил отец.

В молчании они выпили по стакану чая и отправились в путь. В предутреннем сумраке четко выделялась тропинка. От Тамунии ускользнул тот миг, когда свет набрал силу и сумрак окончательно рассеялся, растаял где-то в горах. Вершины гор уже сверкали под солнцем, словно объятые пламенем, пурпурные лучи лежали и на отрогах, только на дне ущелья затаился полумрак, не собирающийся, по-видимому, легко сдавать свои позиции.

Холод пробирал до костей. Щеки у Тамунии порозовели, руки пришлось спрятать в карманы. Отец отобрал у нее рюкзак, и идти стало легче. Движение мало-помалу согревало. Когда дорогу им преграждал ручей, она останавливалась, молча поджидала отца: тот брал

ее руку своей огромной ручищей, и в мгновение ока она оказывалась на противоположной стороне.

В изголовье ущелья воды, низвергавшиеся с ледников, с грохотом соединялись в один поток, а ниже, на равнине, разлившись в ширину, теряли голос и текли почти неслышно.

Посадив Тамунию на плечи, отец перенес ее через поток.

На огромном валуне лежали лучи солнца. Тепла они не давали, но девочка все равно обрадовалась им и прислонилась к камню.

Как будто совсем недавно они вышли из Северного приюта, а прошло уже добрых три часа.

Оба проголодались. Отец открыл рюкзак, разложил скудную еду. Он старался казаться веселым, шутил, громко смеялся; иногда щелкал Тамунию по покрасневшему носику и торжественно провозглашал: «Глубокоуважаемая путешественница и альпинистка, покорительница перевалов и снежных вершин Тамуния Нижарадзе...» Эта вымученная веселость не обманывала Тамунию. Серьезно и печально вглядывалась она в высокий перевал, узким седлом стиснутый между двумя скалами, исполинскими стражами здешних мест.

Прошла большая группа туристов, шумно поприветствовав отца с дочерью. Они торопились. К полудню, когда солнце припечет, поверхность ледника начнет подтаивать и идти станет трудно. Нашим путешественникам тоже следовало поторопиться. Они начали собираться, но в последнюю минуту отец заколебался — как бы девочка не переутомилась. Туристы то появлялись, то пропадали между скал. Потом совсем исчезли из глаз, и прошло немало времени, прежде чем они возникли снова — на фоне белого сверкающего ледника растянувшиеся гуськом люди казались отсюда черными движущимися точками.

— Пора! — отец смахнул с колен крошки хлеба. Тамуния привстала, подражая отцу, тоже отряхнула платье.

— Пошли! — серьезно, как взрослая, ответила она, а про себя добавила: «Мама ведь шла одна...»

Они быстро преодолели усеянное обломками камней плато.

Высоко над головой вздымались упиравшиеся в поднебесье скалы. Огромные каменные глыбы неуклюже громоздились друг на друга, будто пытаясь разрушить нестойкое, шаткое равновесие и с грохотом низринуться вниз, подминая под себя все на своем пути. Тамуния чувствовала себя так, словно ей с минуты на минуту предстояло войти в разверстую огнедышащую пасть дракона.

Она взглянула на отца. Тот задумчиво смотрел на каменные глыбы. Едва заметная тропинка то и дело исчезала, теряясь в камнях.

— Кажется, они прошли здесь, — сказал отец, имея в виду туристов.

«И мама прошла здесь», — подумала Тамуния. В последнее время мать была такой легкой, почти бесплотной, что даже камушек не сдвинулся бы с места под ее ногами. Истаявшая от болезни, она больше походила на бабочку, порхающую с цветка на цветок.

Первая глыба выдавалась вперед, как уродливо выпирающий зуб дракона. Тамуния не доставала ей и до середины. Отец взял ее под мышки и поставил на камень. Она ждала, что глыба пошатнется, закачается и сбросит ее со спины, но камень держался прочно, и девочке удалось разглядеть слабый след тропинки, перескакивающей с валуна на валун.

— Осторожно! — прошептал отец.

Этот шепот заставил ее вздрогнуть. В безлюдных горах, где никто тебе ничего не запрещает, отец вдруг заговорил шепотом, словно его голос мог нарушить это вековое безмолвие.

И все же она не обернулась. Не взяла протянутой ей руки. Вдвоем по узкой тропинке было не пройти. Не спеша, пробуя каждый шаг, она осторожно перебралась на второй камень, с него — на третий, на четвертый... Отец ступал ей вслед, готовый при первой же необходимости к отчаянному прыжку. Однако девочка спокойно продолжала продвигаться вперед, и его и страшило, и радовало это ее упорство.

Вдруг камень покачнулся. Движение передалось другому. Тамуния замерла, скованная внезапным стра-

хом. До этого она и не знала, что страх может быть таким сильным. Ей показалось, что она падает, кто-то незримый, бестелесный подхватил ее, обдав материнским теплом. Наверно, это был отец, но Тамуния не обернулась. Ей не хотелось разубеждаться в том, что помощь пришла со стороны матери.

Не пройдя и половины пути, она почувствовала, что больше не может. Достаточно было одного слова жалобы, и отец сбросил бы рюкзак, подхватил ее на руки и так донес до самого перевала, но Тамуния слышала за спиной его учащенное дыхание, ей было жаль отца, и она кренилась...

Дорогу перерезал снежный сугроб. За ним опять грудились камни, но уже как бы связанные снегом, прижатые к склону, а потому — не такие страшные.

Они немного передохнули. Мокрая от пота рубашка липла к телу, а из ущелья дул прохладный ветерок, и Тамуния зябко поежилась.

— Пошли!

— Ты не устала?

— Устала, но все же пошли!

Они обогнули сугроб и снова пошли по камням. Увязшие в снегу валуны рождали ощущение прочности.

Солнце стояло уже высоко. Оно заполнило все ущелье, достало даже до озера Донгуз-Оруна, и мутно-зеленую воду прорезала золотистая полоса.

С высоты хорошо был виден Северный приют, откуда маленькими группками выходили припозднившиеся «дикари».

Ушедшие же вперед туристы на какой-то момент возникли на гребне, смахивая издали на тонюсенькие спички, а затем снова пропали из глаз, перевалив за хребет в следующее ущелье.

Каменная гряда кончилась. От перевала их отделяла широко раскинувшаяся пологая ледяная равнина. Равномерно освещенная солнечными лучами, она источала ослепительное сияние, наполнявшее прохладный воздух игрой бесчисленных бликов.

И в этих бликах плавно и бесшумно порхала крупная прозрачная бабочка — мама Тамунии.



— Здесь передохнем, — отец остановился на краю равнины. — Устала?

Тамуния нерешительно покачала головой, хотя льды ее были на исходе, нестерпимо ныли колени.

— Боишься?

Тамуния опять покачала головой.

— Ты у меня молодец! — отец налил ей холодного чаю. Раньше он, бывало, говорил: «Ты у нас молодец!» А теперь вот — «у меня».

Тамуния молча согласилась с ним.

— А знаешь-ка, ты подожди меня тут, заодно и отдохнешь. А я подниму на перевал рюкзак и вернусь за тобой.

Тамуния не ответила. Нельзя было понять — то ли она соглашается, то ли просит не оставлять ее одну.

Осторожно ступая по следам туристов, отец пошел по ледяной равнине.

Тамуния долго смотрела ему вслед.

Он двигался неуверенно, с опаской пробуя ногой куда ступает, и, только убедившись, что стоит прочно, делал следующий шаг. Стоило оступиться — и ему не собрать бы костей: на голой круче до самого дна ущелья ухватиться было не за что. Постепенно его очертания расплылись в белом пространстве, а сам он, все уменьшаясь, превратился в темное бесформенное пятно. Тамунии показалось, что отец еле ползет, а может, вообще остановился — не в силах двинуться ни вперед, ни назад. В страхе заметавшись на месте, она твердила шепотом, как заклинание: «Папа, папа, папа...»

Она не знала, сколько времени прошло с того момента, как отец ступил на ледяную равнину, — год или целая вечность. Скоро стемнеет, и необозримые льды навсегда разлучат ее с отцом.

Слабый шорох девочка уловила только тогда, когда фигуру отца уже едва можно было различить. Она обернулась. Ей показалось, что звук идет из камней. Потом поняла, что не из камней, а с ледяной равнины. Оттуда раздавался легкий треск, какое-то звяканье, стук, хруст, — льды будто ожили и все разом сдвинулись с места, грозя превратиться в мутный поток или

снежную лавину... Вот всколыхнется равнина, ринется в пропасть, и Тамуния никогда не найдет дорогу к отцу, которого заманили в эти горы незримые сладкие матери.

«Па-па-а!» — пронзительно закричала Тамуния и бросилась бежать туда, куда ушел отец. Она спотыкалась, падала, вскакивала и продолжала бежать...

Поверхность льда подтаяла под солнцем. Водяные струйки звенели, журчали, сливаясь в ручей... Местами лед пошел трещинами, образовав узкие голубоватые расселины, и оттуда раздавался угрожающий гул.

«Папа-а!» — Тамуния все бежала, отчаянно цепляясь за единственную ниточку, еще связывающую ее с отцом.

Она оступилась... Еле удержалась на ногах... Опять оступилась... Чуть не потеряла след отца, едва не скатилась вниз — в зияющую пропасть. Однако теплая уверенная рука не отпускала ее, мягко подталкивала вперед, направляла...

Сколько времени продолжалась эта неравная борьба — единоборство ребенка с грозной ледяной стихией? Сколько раз оказывалась она на волосок от смерти? Впрочем, разве знала Тамуния, что такое смерть!

Внезапно перед ней как из-под земли вырос отец. Схватил ее на руки. Ласково прошептал: «Успокойся, девочка!»

Лицо его было искажено, в глазах застыл ужас.

Он пронес ее на руках через всю ледяную равнину. Нестройный гул вылился теперь в ровное, слаженное звучание — будто заиграл настроенный опытной рукой, хоть и невидимый оркестр.

У самого перевала, там, где кончалась ледяная пустыня, он поставил ее на ноги, сел сам — колени у него подгибались.

— Как ты меня напугала, — произнес он без упрека.

Тамуния бросилась ему на шею: «Я и сама напугалась, думала — ты меня бросил!»

Держась за руки, они поднялись по последнему склону — метров десять, не больше.

Потом долго стояли на узком пяточке перевала, окруженном зубчатыми хмурыми скалами.

В спину им дул холодный северный ветер. А южный склон горы с головокружительной быстротой срывался в бездонное ущелье.



* * *

На третий день отец с дочерью были уже на побережье, в Сухуми. До этого Тамуния никогда не видела моря. Отец привел ее на пляж спозаранку — на пустынном пляже еще никого не было. Девочка долго не сводила глаз с необъятной, распростершейся до самого горизонта голубой глади. Море лежало перед ней, как живое существо, — оно ластилось к ее ногам, глуховдыхало, накатывало волну за волной, вскипало белой ажурной пеной...

Кое-где на волнах качались белоснежные чайки. Они ныряли головками в воду, словно тщетно пытались найти что-то утраченное навсегда.

Нелегко в поднебесном мире найти затерявшиеся когда-то следы.

Тамуния протянула руку к морю, в синих глубинах которого колыхались, мельтешили тысячи призраков:

«Где-то там моя мама..»

НАШ-ДОКТОР

СНЕГ валил, не переставая, — крупными, неторопливо-тяжелыми хлопьями. Ветки прогибались под его тяжестью. Возбужденно чирикающая, воробьи клевали брошенный чьей-то милосердной рукой кусок хлеба.

Крыши были покрыты пышными снежными шапками.

«Надо счищать», — промелькнуло у Баджу.

Он поднял голову, глянул в окно, но тут же забыл и о снеге, и о ветках, и о крышах, и о воробьях.

Женщина держала на руках только что появившегося на свет младенца. Младенец слабо попискивал.

— Вырастет! — громко, чтобы слышала роженица, произнес Баджу.

Несколько часов назад, когда он вошел сюда, надежды почти не было. Опыт подсказывал ему, что роды будут трудными. Так оно и вышло. Батимат Циндэлиани было не меньше сорока. Девять раз рожала она — все сыновей, девять раз была на волосок от смерти, и вот теперь десятая — девочка — едва не стояла ей жизни.

«Вовремя подоспел. Могла задохнуться», — Баджу стянул с себя резиновые перчатки, бросил в таз и с наслаждением подставил руки под теплую струю.

Роженица повернула к нему покрытое мелкими бисеринками пота лицо. Из нижней растрескавшейся губы у нее сочилась кровь. За все время она не издала ни звука, ни стона — верно, стеснялась чужого мужчины, — только кусала губы. Еще и теперь от перенесенной боли губы у нее продолжали кривиться, как у обиженного ребенка, но уже инстинктивно...

Страх, все это время метавшийся в ее глазах, постепенно исчезал, в них попеременно проступали облегчение, признательность, нежность — и наконец какое-то умиротворенное спокойствие.

— Девочка! Проказница будет! По всему видно, — второй раз подал голос Баджу.

— Спасибо, Наш-доктор, — с трудом прошептала женщина. «Наш-доктор» — так называли Баджу все жители ущелья, и в этом «наш» сквозили любовь и почтение.

— Крепенькая девица, — живо отозвался он и обернул руки.

В комнате суетились соседки, выносили тазы, ведра, тряпки.

Баджу открыл дверь и впустил Бечу Циндэлиани, отца семейства. Лицо его поросло густой, с проседью щетиной — видно, не брился по меньшей мере с неделю, — глаза запали от волнения.

— Будет жить, Наш-доктор?

— Будет, а как же, — утешил его Баджу.

Бечу подошел к постели. Рядом с матерью копошилось крохотное существо. Мужчина отвел глаза.

— Как ты себя чувствуешь, Батимат?

Женщина жалко улыбнулась в ответ.

У порога сгрудились младшие Циндэлиани, с любопытством вытягивая шеи по направлению к двери.

— Входите, входите!

Баджу взял за плечо старшего, пятнадцатилетнего Гио, легонько подтолкнул его к матери. Братья выстроились друг за дружкой, мал мала меньше. Старший нагнулся, поцеловал мать, окинул взглядом новорожденную и отступил на шаг, пропуская вперед братьев. Те проделали то же самое: по очереди наклонялись, целовали мать, взглядывали на младенца — кто с интересом, кто с изумлением, кто брезгливо, самый же младший, двухлетний Датуна, вдруг пустился в рев: «Не надо мне сестлички! Не хочу!»

Потом все разом устремились к выходу, застряли в дверях и, гомоня и повизгивая, выкатились наружу.

— Озорница будет и шалунья, помяните мое слово, — Баджу взял Бечу Циндэлиани за руку, отвел его от постели. Выходя из комнаты, он глянул в висящий у дверей осколок зеркала и сам себе не понравился — бледный, осунувшийся, заросший. А ведь после женитьбы он брился каждый божий день.

Он почувствовал, что беспредельно устал. Вчера тоже не было ни минуты роздыха. Все на свете бы отдал сейчас за теплую постель и несколько часов сна. Смерть была грозным врагом, и борьба с ней требовала крайнего напряжения сил. Порой Баджу одерживал над ней верх, но, бывало, терпел и поражение — и тогда, с каждым разом все больше, тяжесть камнем ложилась на сердце. «Я ведь терапевт, а здесь нужны и другие специалисты», — неоднократно писал он в район. Но все оставалось по-прежнему, и ему снова приходилось сочетать в своем лице и терапевта, и хирурга, и гинеколога, и психиатра, и бог весть кого еще, поскольку на все ущелье Дали он был единственным врачом. Время от времени он принимался угрожать начальству — вот брошу все и подамся в город: на кафедре устроюсь, в рестораны ходить буду — не хуже других! Однако угрозы оставались угрозами, а годы шли. У «Наш-доктора» заметно поредела шевелюра, в уголках глаз прибавилось морщин...

А на дворе все падал хлопьями снег, и низко сгибались под его тяжестью ветки деревьев.

Джемал Кириа. Две новеллы.

«Надо счищать», — еще раз подумал Баджу и закрыл свой чемоданчик.

В комнате для гостей женщины на скорую руку накрывали на стол. Баджу вспомнил, что с утра у него не было во рту маковой росинки.

— Выпейте с нами стаканчик, Наш-доктор! — попросил Бечу Циндэлиани.

— Ну что ж, — не чинясь согласился Баджу и подвинул себе стул. — Надо же благословить первую девочку в семье.

— Назову ее Тамар! — Бечу стоя разлил водку по стаканам.

— Хорошее имя. — Баджу подумал о своей молодой жене. Ее тоже зовут Тамар. Спасая роженицу и ребенка, он совсем запамятовал, что и его Тамар на сносях, ждет со дня на день. Не следовало ему уезжать так далеко от дома. Случись что — не сумеет помочь. Женился он поздно, на пороге старости, и то, что жена забеременела, считал чудом божьим.

— Хорошее имя, — улыбнулся своим мыслям Баджу. Он держал стакан в руке, а Бечу Циндэлиани терпеливо ждал, когда гость сядет.

С балкона раздался стук.

— Наш-доктор здесь? — громко спросил чей-то голос.

У Баджу задрожали руки, водка расплескалась. Молнией мелькнула мысль, что с Тамар неладно — верно, позвонили из дому. Он поставил стакан, обернулся.

Дверь широко распахнулась, в комнату ворвался пар, а вместе с ним — пушистые снежные хлопья.

Молодой парень едва переводил дух. Лицо его пылало, на голове и на плечах таял снег.

— Тамар? — беззвучно спросил Баджу.

— Наш-доктор, Гоча Виблиани умирает!

Баджу помедлил с ответом, от сердца отлегло, но тут же сдавило опять...

Он не мог вспомнить, ни кто такой Гоча Виблиани, ни где живет.

— Что с ним?

— Я и сам толком не знаю. Позвонили по телефону, но связь прервалась, — видно, обрыв на линии...

— Где обрыв?



— Да вы ведь знаете, какое расстояние до Тэтнэ Манчхаапи, где-нибудь линия и оборвалась...

Тэтнэ Манчхаапи... Деревушка дворов в десять, да и пути километров десять по узкому засыпанному снегом ущелью...

— Ну так пошли! — в голосе Баджу чувствовалась нерешительность. Он вырвал из лап смерти Батимат Циндэлиани, заставил врага отступить, а вот теперь кто знает, где этот враг затаился и подстерегает его.

— Наш-доктор, — несмело напомнил о себе Бечу Циндэлиани. «Сядем за стол!» — этого он произнести не мог. Но хоть один стакан за здоровье новорожденной!

— В другой раз, в другой раз! — Баджу надел пальто, замотал шею теплым шарфом, нахлобучил на голову меховую шапку.

Перед уходом заглянул к роженице, окинул ее внимательным взглядом. Лицо женщины было бледно, глаза закрыты. Как будто все должно идти на лад, но какое-то смутное, беспокойное предчувствие не покидало Баджу. Он наказал Бечу Циндэлиани сходить в Дати, в больницу, — пусть пришлют медсестру.

Снегу нападало не меньше сажени. Деревни почти не было видно, хотя с некоторых домов снег уже счистили и из труб вился сизовато-белый дымок.

На одной крыше стоял мужчина, лопатой сбрасывал снег. Рядом, на коньке, примостился мальчишка:

— Наш-доктор идет!.. Наш-доктор идет!.. — скороговоркой зачастил он.

Мужчина обернулся, помахал рукой — мол, как дела? Баджу поднял большой палец — «хорошо!» — хотя сердце продолжало предсказывать недоброе.

На проселочной дороге уже успели протоптать узенькую тропинку.

Провожатый, Гуду, ковылял впереди. Он во всех подробностях рассказал Баджу, как накануне поскользнулся и растянул сухожилие, потом перевел разговор на погоду — по радио сообщили, что снегопад продлится две, а то и три недели, будьте, дескать, осторожны.

Погруженный в раздумья Баджу не слушал бол-

товню спутника. Снова и снова возвращался он мыслями к жене Бечу Циндэлнани, убеждая себя, что подошел вовремя и сделал все необходимое, но — сомнение продолжало беречь душу. Чтобы успокоиться, он пытался думать о малютке Тамар, которую ему удалось-таки выцарапать у смерти... От нее мысли перекинулись к жене — небось чувствует себя покинутой, бедняжка. На девятом месяце как-никак!

На почте никого не было, но дверь оказалась незапертой. Он обрадовался, услышав в трубке зуммер, — хоть здесь линия в исправности. На том конце провода долго не отвечали, и проклятый страх снова закрался в душу.

Потом вдруг в трубке что-то щелкнуло, и он чуть не подпрыгнул от одного-единственного простого коротенького слова:

— Слушаю, — сказал женский голос.

Он жестом попросил прислонившегося тут же к стене Гуду выйти, оставить его одного.

— Это я, солнышко, как дела? Все в порядке?

— Где ты? — в голосе женщины чувствовалось беспокойство.

— Я в верхней деревне. Жена Бечу Циндэлнани родила девочку.

— Едешь домой?

Баджу вздохнул, помолчал, ответил почти сухо:

— Нет, сегодня не получится.

— А завтра? — голос у женщины упал.

— Не знаю. Ты только ничего не бойся.

— Я боюсь, — прошептала женщина и положила трубку.


Баджу продолжал чего-то ждать. В трубке раздавались частые гудки, а в ушах звучало тревожное «Боюсь, боюсь, боюсь...»

— Наш-доктор! — в дверь просунулась голова Гуду.

— Да-да, пошли...

Они вышли за околицу. Дальше тропинки уже не было.

Узкое ущелье было погребено под снегом. Едва угадывался дремучий лес, карабкающийся вверх по крутым склонам. Раскоряченные ветви столетних



каштанов смахивали на леших, а несколько случайно затесавшихся сюда и потому сиротливых елей, отягченных снегом, почти утратили свое природное обличие и походили на какие-то сказочные терема.

Баджу поставил свой чемоданчик на снег, уселся на него и начал прилаживать лыжи.

Гуду стоял рядом. Неловко переминался с ноги на ногу. Лицо его выражало смущение.

— Давайте закреплю, Наш-доктор!

Баджу испытующе посмотрел на него.

— Возвращайся назад, я пойду сам!

Гуду покраснел, но возражать не стал.

Баджу взглянул на часы. Стрелка застыла на четырех.

Кивнув на прощание Гуду, он ступил на нехоженный, девственно чистый снег. Свежий наст осел под его тяжестью, закрипел, но выдержал...

Шел наугад, пытаясь припомнить, где тут весной проходила узкая тропинка, с упорством одержимой не сттававшая от мутного ручья. Теперь все вокруг было до однообразия гладко и ровно, на снегу не видно даже звериных следов.

Всю дорогу голос жены что-то нашептывал ему в ухо. Беспокойство не отпускало. Вдруг, чем дальше уходит он от дома, тем труднее Тамар? А впрочем, что может случиться? Не пристало мужчине, да еще врачу, поддаваться панике.

Снег продолжал валить. Крупные белые ромашки, плавно кружась, опускались на погруженный в безмолвие лес. Они нежно касались его лица, таяли на ресницах и слезами скатывались по щекам. Уже в двух шагах от себя ничего нельзя было разобрать, и Баджу казалось, что путь ему преграждает какая-то бесплотная, ватная стена, без конца и без края.

Пушистый снег поскрипывал под ногами. Баджу слушал этот слабый скрип, собственное дыхание, глухие шлепки валившихся с веток комьев. Все звуки тонули в мерном, неслышном, едва уловимом шорохе, издаваемом мириадами падающих снежинок, и Баджу снова и снова вспоминал Тамар: то она возникала перед ним такой, какой была в день свадьбы — хрупкое,

нежное, юное существо, то такой, какой он оставил ее сейчас — с коричневыми пятнами на лице, отяжелевшая, но прекрасная в этой полноте женственности в таинственном предощущении материнства... Пожалуй, ее даже не назовешь красивой — кто знает, какой видится она постороннему глазу, — но Баджу остро ощущал исходящее от нее тепло, и к глазам невольно подступали благодарные слезы... Мысленно он ласкал свою молодую жену, но главное, несказанное таилось глубоко в душе. Он стыдился своей нежности, своего незатухающего желания, а это желание властно диктовало ему: запри ее в сердце накрепко, не выпускай, не то улетит твоя птичка-невеличка, поминай как звали... Он пытался совладать с этими непрошеными мыслями, не поддаваться им, разве что чуть-чуть. Мимходом коснувшись руки жены, он в двух словах рассказывал ей о больных и погружался в старые, пятидневной давности газеты. А Тамар хлопотала по хозяйству, накрывала на стол... Время от времени Баджу поглядывал на нее поверх газеты, и его охватывало какое-то незнакомое, непривычное блаженство. Он отбрасывал газету и тянулся к жене — схватить, стиснуть в объятиях, но тут же со вздохом одергивал себя: «Ну и дела творятся в Америке!» Потом они садились за стол, по разные стороны. Тамар почти ничего не ела, он заставлял ее, даже сердился: тебе не хочется, а о ребенке ты подумала? Ему-то есть надо! У нее моментально наворачивались слезы, в жалкой улыбке кривился рот, и он уже готов был откусить себе язык, целовать ей загрубевшие от нескончаемой домашней работы руки. Только ни разу до этого не дошло. Не получилось как-то.

А вот сейчас, в этом заполненном до краев снегами ущелье, наедине с самим собой, оторванный от всего остального мира, он вдруг преисполнился какого-то веселого мальчишеского озорства.

— Тамар, я люблю тебя! — громко произнес он.

И тут же устыдился разлитого вокруг в природе безмолвия, будто там, за снежной завесой, кто-то мог подслушать его. Он почувствовал, что краснеет, но назло этому невидимому соглядатаю повторил еще громче:

— Я люблю тебя, Тамар!

И засмеялся.

Эхо не ответило ему, словно задохнулось, затерялось в этом снеговом потоке.

Пушистый снег, слегка поскрипывая, оседал под лыжами.

Незаметно подкралась ночь, но пронзительная белизна снега не подпускала к себе темноту.

Гул раздался поздно. Откуда-то, словно из-под земли, послышался глухой нарастающий шум. Баджу не сразу понял, что это может быть.

А гул становился все громче...

Подул резкий ветер, закружив в своем вихре снежинки, и разом перемешались в нестройном многоголосии вой, грохот, треск, свист... Баджу почувствовал, что не может устоять на ногах... Вьюга приподняла его, закружила и отбросила в сторону.

Долго не смолкал далекий, приглушенный отклик проснувшегося эха.

Потом опять все стихло.

Баджу с трудом выкарабкался из-под снега. Болело колено. Он проверил, не сломано ли. Как будто нет. Видно, просто стукнулся обо что-то.

Лавина все смела на своем пути. Камни, деревья, грязный снег, смешавшись в одну кучу, запрудили овраг.

«Чудом уцелел», — подумал Баджу. Лавина задела его лишь краем. Пройди она чуть ближе...

Он огляделся. Одна лыжа была переломлена пополам, второй не было вообще. Чемоданчик валялся неподалеку. Баджу дотянулся до него, открыл — хоть что-нибудь уцелело? К его великому удивлению все оказалось на месте.

«Как же быть?»

Он не знал, сколько еще осталось идти. Полдороги все же, наверное, позади.

Острый, неожиданно подступивший голод перевернул все внутренности. Он пожалел, что не захватил с собой хотя бы хлеба. Мыслями снова завладели Циндэлиани. «Вовремя подоспел. Могла задохнуться», — подумал он о новорожденной. Это немного приободри-

ло его, хотя бодрость была чуточку наигранной, с при-
месью тревоги.

Он взял в рот горсть снега, попытался 941935920
изв.ком.1935 удержать его.

Со стоном привстал.

С трудом вытянул ногу. Потер ушибленное колено и, прихрамывая, двинулся вперед.

Там, где прошла лавина, склон был оголен, и ступать по камням было ловчее. Так он прошел метров сто, а затем снова провалился по пояс в снег. Опираясь на чемоданчик, он медленно, шаг за шагом, пробивал себе путь. Боль в колене как будто приутихла, во всяком случае беспокоила не очень, но стоило ему остановиться, и она тотчас же резко напоминала о себе.

Так прошел час, второй, третий... Снег не переставал. Непроглядная, таящая в себе смутную угрозу ночь окутала землю. Нигде не раздавалось ни звука — только ровный, непрерывный шорох падающих хлопьев.

Баджу смертельно устал. Не было сил даже думать. И все же продолжал твердить про себя одно слово; он цеплялся за него, оно как бы соединяло его с людьми, так внезапно сгинувшими с лица земли: «Тамар... Тамар... Тамар...»

Около полуночи раздался ружейный выстрел.

«Бум!» — глухо утонуло в снегу, словно палкой ударили по вате.

А вслед откуда-то из-под снега возникли приглушенные дребезжащие голоса — будто крутили заигранную патефонную пластинку. Баджу слоткнулся, опустился на снег, а подняться уже не достало сил.

— Э-э-гей! — крикнул он, но голос затерялся где-то рядом, не преодолев и двух шагов.

— Эге-гей! — услышал он в ответ, и белую темень прорезала вспышка света, в глазах заплескали искры.

Баджу смежил веки и покорно отдался чьим-то сильным рукам, выхватившим его из снега и встряхнувшим. Снежинки падали ему на лицо. Он ощущал их, как ласковое прикосновение холодных детских пальчиков. Но сознание все больше меркло, и наконец он погрузился в теплую, сладкую дремоту.

Привел его в себя спертый, душный воздух жилья. Он почувствовал, что с него стаскивают пальто, но от-

крывать глаза не хотелось. Чей-то голос повторял над ним одно и то же:

— Наш-доктор, очнитесь. Наш-доктор!..

— Плесните мне в лицо водой, — борясь со сном, пробормотал Баджу.

— Что вы, Наш-доктор, как можно?

— Холодной... — с трудом разлепил он спекшиеся губы и вдруг почувствовал на лице воду. Кожу обожгло огнем.

Баджу очнулся, поднял голову.

Перед ним, нагнувшись, стоял парень лет семнадцати. В руках он все еще держал пустой стакан, в растерянности не сообразив поставить его куда-нибудь.

— Молодец! — улыбнулся парню Баджу и, вытершись поданным кем-то полотенцем, спросил: — Зовут-то как?

— Георгием.

— А ну, брат Георгий, сообрази-ка мне крепкого чаю, такого, чтобы мертвого на ноги поднял, — и добавил уже другим тоном: — Покажите больного!

В большую комнату набилась чуть ли не вся деревня.

В углу молча стояли мужчины. Видно было, что они уже успели обменяться впечатлениями и теперь не сводили глаз с больного. Вдоль стен сидели женщины в темных платьях. Они громко причитали.

«Опоздал», — молнией мелькнула мысль. Только теперь Баджу по-настоящему пришел в себя. Глазами подозвав Георгия, он шепотом велел ему очистить помещение. Первыми вышли мужчины, за ними нехотя, точно стреноженные любопытством, потянулись женщины.

Гоча Виблиани, высокий кряжистый старик, лежал беспомощно распростертый на тахте. Из груди его вырывалось тяжелое, с присвистом дыхание.

Баджу пощупал пульс. Пульс был неровный, прерывистый... С минуту он помолчал, в раздумье глядя на больного. Прорезанное глубокими морщинами лицо Гочи Виблиани заливал пот. Седые влажные волосы прилипли ко лбу. Простыня, обматывавшая ему грудь, пропиталась кровью.

— Что с ним стряслось? — спросил Баджу у Георгия. Чертами лица тот походил на старика. Наверное, сын.

— Упал... — запинаясь пробормотал парень.

— Выпивший был?

— Да так, слегка навеселе. Такой снег, сами понимаете, — покраснел Георгий.

— Подрался с кем-нибудь?

Георгий не ответил.

И как это бывало уже не раз, Баджу мгновенно забыл обо всем — об усталости, о бессонной ночи, о семье Циндзалиани, о дороге в снегу и боли в колене, даже об ожидающей его Тамар...

У постели больного стоял совсем другой человек — сурово нахмурившийся, сосредоточенный, требовательный, чуть ли не грубый.

— Принесите большой стол!.. И простыни, много простынь, только чистых, вываренных, соберите по соседям. Что, света нет? Уже две недели?.. Черт бы его побрал!.. Тогда давайте лампы!.. Пусть женщины нагреют воды, да побольше, — надо прокипятить инструменты... А двух-трех мужчин покрепче пошлите ко мне!

Георгий стремглав бросился исполнять приказания, а Баджу присел на край тахты, взял крепкую, но сейчас безжизненно свисавшую руку старика, еще раз проверил пульс. Пульс едва прослушивался... Не иначе как колом ударили... Возможно, сломаны ребра или порван крупный сосуд, вот и истекает кровью. А может, и того хуже — задето сердце или легкие... Впрочем, в этом случае он бы столько не протянул...

Гоча Виблиани застонал. Тяжело приподнял веки, бессмысленно, видимо не узнавая, уставился на Баджу. Но постепенно взгляд прояснился, и губы едва слышно прошептали:

— Наш-доктор...

И все. Он снова впал в беспамятство, где порукой от полного небытия служило это единственное произнесенное им слово.

Баджу обернулся на скрип двери. В проем заглядывали мужчины. Он сделал им знак войти.

В комнату внесли раздвижной стол, покрыли его простыней. Осторожно подняли больного и переложи-

ли на стол... По углам развесили лампы. Света все равно не хватало, но делать было нечего.

Гоча снова застонал. Задышал хрипло, с натугой потом вдруг начал лихорадочно и бессвязно говорить. Кого-то ругал, матерился, грозился убить. Баджу понял — это со смертью воюет Гоча Виблиани, пытается вырваться из темной бездны. Медлить нельзя, надо бросить ему веревку, вытащить на свет божий.

— Держись, дядя Гоча, ты должен выдержать...

Голос Баджу потеплел. Скорее всего старик и не слышал его, но сейчас слова тоже были спущенной в бездну веревкой, и Баджу беспрестанно повторял одно и то же, уговаривая, подбадривая, утешая.

Куда только девалась его суровость? Каждый больной всегда становился для него ребенком. Вот и сейчас он обращался с этим седым стариком так ласково, как с десятилетним мальчуганом.

— Болеутоляющего у меня маловато, придется потерпеть, иного выхода нет. Ты должен выдержать, дядя Гоча, — чуть-чуть нараспев приговаривал он. А сам осторожно разматывал окровавленные тряпки, бросая их прямо на пол.

У дверей зашептались.

Баджу нахмурился, сердито взглянул в сторону двери:

— Что там еще такое?

— Чай, Наш-доктор, вы просили чаю, — несмело произнес Георгий. В руках он бережно держал чашку.

— Нашел время! Убери!.. Постой, линию починили?

— Нет. Говорят: до утра ничего не выйдет.

— Как только починят, позвоните в Сухуми, пусть вышлют вертолет!

Он снова повернулся к больному. Спустился к Гоче Виблиани в темную бездну, и теперь они ощупью искали друг друга — затерявшийся во мгле старик и его избавитель.

«Главное — остановить кровотечение», — твердил он про себя.

Баджу осушил кровь на обнаженной груди. Теперь ему было ясно, что надо делать, чтобы поддержать

эту ускользящую от него жизнь хотя бы до прибытия вертолета.

Он взял скальпель. На теле старика выступили все еще крепкие, как у молодого, мускулы, гладкая кожа поражала белизной. «Вечное детство», — неожиданно всплыли в его памяти слова, и сразу же, сделав быстрое движение рукой, он рассек белую кожу...

С этой минуты он вообще уже ничего не помнил, весь отдавшись борьбе — с кровотечением, со смертью...

Вокруг него суетились желтые в свете ламп, лишенные жизненных красок тени помогающих ему людей. Раньше они не боялись смерти — по-видимому, просто не думая о ней, — теперь же при виде крови почти теряли сознание, с трудом исполняя отрывистые, строгие указания врача.

Время пролетело быстро. Начало светать. Из окна в комнату просочился бледный сумрак зимнего утра, но тут же растаял, словно напуганный светом множества ламп.

— Все! — прошептал Баджу.

Усталым голосом он еще продолжал давать последние указания, а сам уже неторопливо стаскивал с себя перчатки, с наслаждением мыл руки теплой водой, жадно пил крепкий до черноты чай, ни на секунду не переставая прислушиваться к неровному дыханию больного...

— Будет жить твой отец, — громко сказал Баджу Георгию, и вдруг колени у него подкосились... Он только успел почувствовать, как его подхватили крепкие молодые руки...

* * *

Он проспал мертвым сном до полудня. Потом вдруг сразу открыл глаза. Комнату заливал яркий свет. Постель была белоснежной. В углу в печке весело гудел огонь. За окном гнущиеся под снегом ветки блестели в лучах солнца. «Где я?» — лениво подумал он. Поднимать голову с подушки не хотелось. На него снова навалился сон, но только на мгновение, — память разом ожила, воспроизведя в деталях все, что произошло накануне. Он привстал.

— Эй, есть тут кто-нибудь?

В комнату заглянул Георгий.

— Как отец?

— Еще не просыпался, Наш-доктор!

Баджу успокоился, начал одеваться. Хозяева в сушили его одежду и ботинки у огня. Все было теплое, приятное.

— Вы так сразу уснули, Наш-доктор... — Георгий извинялся за то, что гостю не оказали должного внимания.

— Телефон заработал?

— Да, около часу назад.

— Идем, мне надо позвонить.

— Уже позвонили, Наш-доктор, вертолет выслали.

Баджу похлопал парня по плечу — молодец!

По дороге заглянул к больному, проверил пульс, спросил, есть ли жар.

Телефон был в закускойной. Сняв шапку, буфетчик почтительно приветствовал доктора.

Георгий сделал ему знак глазами, и оба вышли.

Трубку взяли сразу, точно ждали звонка.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Я прождала тебя весь день, — в голосе Тамар слышалось легкое волнение. — Ты не приедешь?

— Постараюсь... Ты только не бойся...

— Я буду ждать...

К сердцу Баджу прихлынула теплая волна, и ему снова захотелось сказать ей слова, которые никогда не удавалось произнести в ее присутствии.

— Знаешь, что я хочу тебе сказать? — неожиданно для него самого слова прозвучали суховато.

— Что? — голос на другом конце провода дрогнул.

— Я люблю тебя больше всех на свете...

Дальше он говорить не мог.

— Я жду тебя, — прошелестело в ответ.

Он еще долго держал трубку. Молча слушал дыхание Тамар.

— Алло, алло!.. — внезапно нарушив молчание, вмешался ленивый голос телефонистки. — Гражданка, положите трубку!.. Алло, это Тэтнэ Манчхаапи?

— Да!

— Говорите!

В трубке что-то затарахтело. Послышалось учащенное дыхание, будто человек долго бежал и теперь не может перевести дух.

— Алло, кто говорит? — спросил голос Гуду. — Я хочу Наш-доктора!.. Будь другом, дорогой, поскорее... Э-эх, кажется, опоздал...

Баджу застыл. В сердце впились ледяные иголки. Перехватило дыхание. А трубка назойливо жужжала:

— Алло, алло, жене Бечу Циндэлиани вчера стало худо... Алло, ничем не можем помочь... Понял, друг?.. Э-эх, боюсь, не поспеем...

Баджу безотчетно опустил на табурет. Не сообразил повесить трубку. А голос все продолжал что-то бубнить.

Над Тэтнэ Манчхаапи раздался гул вертолета...

Перевела Неэли СОЛОД

СЛАБЫЙ утренний свет лился в окно и падал на цветастый ковер.

Джемал встал с постели, подошел к окну, выглянул. Небо было свинцовым. По мокрому асфальту мчались машины.

Он окинул грустным взглядом улицу, вздохнул и направился в ванную. Умылся, причесался перед зеркалом и вышел на кухню.

Его мать, Айшана, невысокая полная женщина, стояла у плиты и переворачивала на сковороде котлеты.

— Садись, Джемал, — и она поставила перед ним завтрак. Но Джемал отодвинул тарелку, достал сигарету, закурил.

— Ну что, решил свой вопрос? — робко спросила Айшана.

— Да.

— И где же ты будешь работать?

— В конторе грузчиков.

— Имея диплом, пойдешь работать грузчиком?

— Не в этом дело. Главное, что с нынешнего дня я буду заботиться о себе сам. Не хочу больше слушать отцовских попреков: я, мол, тебя со-

Валериан БРОЕВ

ДЖЕМАЛ РАШОЕВ

●
Р а с с к а з

Перевел с грузинского
Александр ЗЛАТКИН

держу и так далее. Сама слышала, как мы с ним вчера поругались. Я сюда больше не вернусь. Буду снимать комнату на соседней улице.

— До каких пор вы с отцом будете враждовать? Он тебя не понимает, ты — его... Где ты снял комнату?

— Наверху, на Чонкадзе.

Айшана хотела сказать еще что-то, но в кухню вошел глава семьи — Хасан, рослый мужчина могучего сложения. Лицо его хранило недовольное, угрюмое выражение. Он косо взглянул на сына и сел за стол.

Джемал встал и вышел из кухни.

Подняв воротник куртки, сунув руки в карманы, он стал подниматься по улице Чонкадзе. Найдя знакомый двор, по винтовой железной лесенке взбежал на второй этаж и постучал. Послышался скрип полозниц, дверь открылась. На пороге показался хозяин — высокий лысый старик в накинутом на плечи домашнем халате.

— Здравствуйте, — поздоровался Джемал.

— Здравствуйте... Пожалуйте в дом.

В светлой просторной комнате с высоким потолком на стенах висели фотографии, рисунки, чеканка.

— У меня тут сложены кое-какие вещи, — сказал старик. — К вечеру, к вашему приходу, я их вынесу.

— Значит, до вечера...

Джемал Рашоев был доволен. Наконец-то ему не надо будет подчиняться традиционным замшелым привычкам родителей, особенно воле отца, которого он совсем не понимал. Работая на одном из крупных тбилисских предприятий, Хасан, по слухам, загребал немалые деньги. Дома он держался баринком. Кроме того, был чрезвычайно скуп, считал каждый кусок, что особенно возмущало Джемала. «Как-нибудь уж проживу своим умом», — решил он.

Джемал пробежал глазами висевшую у входа вывеску и вошел в контору грузчиков. В полутемном коридоре не было ни души. В отделе кадров, в углу, сидел его начальник — здоровенный рябой мужик со строгим лицом и очками на носу. Он что-то черкал в журнале. Рядом с ним, за другим столом, склонилась над бумагами полная светловолосая девушка. Оба

лишь на мгновение бросили взгляд на вошедшего и продолжали заниматься своим делом.



Джемал кашлянул.

Светловолосая девушка подняла голову:

— Вам чего?

— Хочу устроиться грузчиком.

— Документы при себе? — спросил начальник.

— Вот, пожалуйста.

Начальник внимательно изучал трудовую книжку Джемала.

— А какое у вас образование?

— Закончил факультет журналистики.

— Так какой же из тебя, парень, грузчик! Не знаю, сможешь ли ты у нас работать... Ну да ладно, пиши заявление.

Джемал написал заявление и протянул начальнику.

— Теперь к директору, — буркнул он и снова уткнулся в журнал, сверкая голым черепом.

В приемной, у окна, смуглая изящная секретарша быстро стучала на пишущей машинке.

— Не входите, нельзя! Директор занят! — остановила она Джемала. Лишь когда из кабинета вышли двое мужчин, секретарша разрешила ему войти.

Директору было на вид за сорок. В усах и черной шевелюре его заметно пробивалась седина. Одет он был в добротный дорогой костюм, лицо излучало довольство.

— Слушаю вас, — произнес он с достоинством.

— Хочу работать у вас грузчиком, — и Джемал протянул ему заявление.

Директор прочитал его и поднял голову. Своими серыми насмешливыми глазами смерил худощавую фигуру Джемала с головы до ног.

— Когда-нибудь работали грузчиком?

— Нет... Так, на стройках, приходилось...

Директор что-то написал на заявлении.

— Направляю вас в пятнадцатую бригаду, — сухо сказал он и включил селектор: — Начальника участка Кенчадзе ко мне!

Тотчас в кабинете появился приземистый, апоплек-

сического склада человек. Он по-свойски пожал руку директору, уселся напротив него и, перегнувшись через стол, что-то зашептал ему на ухо.

— Знаешь, зачем я тебя вызвал? — вдруг громко обратился директор к Кенчадзе. — Этот парень будет у нас работать грузчиком. Я его направляю на твой участок. Вчера мне Худоев жаловался, что у него людей не хватает. Стало быть, в его бригаду и пошлем. Бери его с собой и все растолкуй — куда и как ему идти.

— Понятно, батона Шалва, все сделаю, как надо.

— Пятнадцатая бригада обслуживает базу Цекав-шири, — начал он разъяснять Джемалу, когда они пришли в его тесную комнатушку. — База эта находится в Лило. От метро Исани туда идет восьмой номер автобуса. Как приедешь, спроси Хаджи Худоева. Если его не окажется, узнай, где Сафо, — он старший рабочий. Работать начинают в девять. Так что завтра утром езжай прямо туда. Трудовую дисциплину не нарушай. Соблюдай правила техники безопасности. Понял?

— Понял.

Кенчадзе вытащил из ящика стола журнал в толстой почерневшей обложке, послонявил палец и перелистал несколько страниц. Распишись вот тут. Значит, с техникой безопасности я тебя ознакомил...

Джемал расписался.

Он не спеша брел по проспекту Плеханова.

В уме подсчитывал свою наличность. Оказалось тридцать рублей шестьдесят копеек. С этими деньгами ему нужно теперь как-нибудь дотянуть до первой полочки на новой работе.

Наконец решил сесть в троллейбус, но тут увидел своего двоюродного брата Рзо.

— Я ушел от отца. С сегодняшнего дня снимаю комнату, а сейчас иду за вещами, — объявил ему сразу же Джемал.

— Нехорошо это. Пойдем, потолкуем о твоем житье-бытье...

Рзо взял Джемала под руку и засеменил своими кривыми ножками.

— Знаешь, что я тебе скажу? Распри и вражда

между родственниками обычное дело. Самые близкие люди меж собой враждуют. Но, поссорившись сегодня, они завтра снова мирятся и все же остаются близкой родней. Так что и вы с отцом помиритесь. Это ничего. Ты лучше скажи, тетка моя здорова?

— Спасибо, у нее все в порядке.

Они миновали площадь Марджанишвили и, продолжив путь по Плеханова, дошли до площади Карла Маркса. У хинкальной Рзо остановился.

— Зайдем, выпьем пива, — предложил он.

В зале было полно народу. Хинкали кончились. Посетители ждали, пока приготовят новую партию.

Рзо и Джемал взяли пива и расположились в уголке у только что освобожденного высокого столика.

Невдалеке от них кутила довольно большая компания. Ребята были молодые, но, видимо, от малоподвижного образа жизни и неводержанности в еде и питье уже успели обрести жирком. Это уродовало их и не соответствовало возрасту. От алкоголя и чрезмерной полноты дышали они с трудом.

— Ты погляди на них, как они деньгами швыряются, — возмутился Джемал. — Другие перебиваются от получки до получки, а эти...

— Что поделаешь... Так устроена жизнь.

— А ты чем сейчас занимаешься, Рзо?

— Так шофером и работаю. На хлеб хватает, и семью кормлю.

— Сегодня у тебя выходной?

— Да нет, машина сломалась, в гараже стоит.

— Когда еще эти хинкали принесут. Пойдем отсюда, — попросил Джемал.

— Ну что же, пошли. А вещи я тебе помогу перевезти, — предложил Рзо.

— Буду благодарен.

— Какая там благодарность! Мы же братья!

На другое утро Джемал проснулся уже в своем новом жилище. Обвел глазами комнату, которую бог весть когда в последний раз ремонтировали.

«Не так уж здесь и плохо, — размышлял он. —

Как только будет возможность, обязательно отремонтирую».

Потом размечтался об их будущем жите-
ной, о том, как будет писать очерки и статьи для га-
зеты, станет хорошим журналистом. Будущее виделось
ему интересным и содержательным.

Он глянул на часы — была половина восьмого. Встал с постели, оделся, распахнул единственное ок-
но, выходящее в маленький сырой дворик, потом взял
мыло и полотенце, вышел к крану и начал умываться.
Вода была такая ледяная, что заломило пальцы.

Когда горделивой походкой он зашагал к площади
Ленина, часы на башне горсовета показывали без пя-
ти минут восемь.

Голубой поезд метро стремительно домчал его до
станции Исани. Там он пересел на автобус номер во-
семь, который, вынырнув из-под железнодорожного
моста, повернул к Кахетинскому шоссе. Выехав за
пределы города, автобус покати по аллее, уходившей
в поля. Вскоре он остановился у двухэтажного строе-
ния, на котором жирными буквами было выведено:
«База Цекавшири».

Джемал направился к огороженному двору. Как
раз в это время автоматические ворота с лязгом отво-
рились, и на территорию базы с ревом въехали две
грузовые автомашины.

Джемал прошел вслед за ними.

— Ты куда? — окликнул его сторож.

— Я из конторы грузчиков, буду здесь работать.

База Цекавшири была полна товаров. Во дворе
валялись в основном те грузы, которым пребывание
под открытым небом не грозило повреждением. Мимо
Джемала проехал автокар с закрепленным на цепях
контейнером.

В левой части базы находились склады. Вдоль них
тянулась платформа, на которой сейчас стояли давеш-
ние два грузовика.

Готовясь разгружать машины, грузчики выкатыва-
ли свои тележки. Джемал направился к ним.

— Где здесь Хаджи Худоев? — спросил он.

— Не пришел еще, — хмуро ответил один из груз-
чиков.

— А Сафоз?

— Переодевается в раздевалке.

— Где это, раздевалка?

— Вон, прямо, у крана.

В раздевалке перед шкафом он увидел рослого человека, завязывавшего шнурки на ботинках. Джемал спросил его по-курдски:

— Вы Сафо?

— Да.

— Меня взяли рабочим в вашу бригаду.

Сафо окинул Джемала пронзительным взглядом из-под широких черных бровей.

— Нам как раз нужны рабочие, — сказал он. — Да только приходят, тут денек-другой поработают и убегают. Не выносят тяжелой физической работы. Всем подавай легкую да денежную... Вот здесь будешь переодеваться, — Сафо открыл один из шкафчиков и подал новичку спецовку. — Ботинок у нас сейчас нет. Когда получим — дам.

Джемал переоделся. Они вышли во двор.

— Как тебя зовут? — осведомился Сафо.

— Джемал.

— Вот что, Джемал... У нас такой порядок: с каждой полочки отдаем по червонцу бригадиру. Тебе тоже придется отдавать. Сам понимаешь, у нас тоже есть расходы — у меня и у Хаджи...

— Мне до ваших расходов нет дела.

— Не советую тебе, Джемал, так себя держать. Хаджи — личность темная, он и в тюрьме сидел не раз. Отдай ему эти двадцать рублей, иначе взьется на тебя.

— От меня ни копейки не получите...

— Как знаешь... А сейчас пойдем. Надо машины разгрузить.

У грузовиков суетились рабочие — нагружали тележки, катили их на склад и там раскладывали груз по полкам.

Увидав Сафо и Джемала, грузчики устроили перекур. Рассевшись кто где, вытащили сигареты и задымили.

— Контора прислала к нам новенького, — объявил Сафо, указывая на Джемала.

Кто взглянул на него хмуро, кто — насмешливо, кто — с удивлением: откуда, мол, взялся этот ^{новый} испеченный работяга. Встреча была скорее враждебной, чем дружественной, словно Джемал отбивал ^{их} кусок хлеба. Никто не произнес ни слова. Все продолжали молча курить.

— Теперь-то нам полегчает, раз контора прислала такого богатыря, — насмешливо проговорил краснолицый грузчик, явно пребывавший в состоянии легкого подпития. Он сидел на тачке, прислонившись спиной к ящикам.

«Что за паршивый язык у него... Но лучше не отвечать», — успокоил себя Джемал.

Грузчики вновь принялись за работу.

Джемал пристроился к молодому румяному парню и вместе с ним начал складывать на тележку картонные ящики с грузом.

— Ты не торопись, иначе скоро выдохнешься, — посоветовал румяный. — Погляди на стариков, как они трудятся. Ни одного лишнего движения не делают. Устаешь-то от суетни.

Они загрузили тележку и покатали ее к складу. Колеса скрежетали от тяжести. Тележка катилась медленно, с трудом.

— Ну-ка, наляжем, у входа небольшой подъем, — и румяный, которого звали Тамазом, напрягся так, что жилы на его шее вздулись.

Вкатив тележку на склад, они остановились у стеллажа.

— Передохнем немного, — попросил Джемал, с трудом переводя дыхание.

— Передохнем, — улыбнулся Тамаз. — Ничего, привыкнешь помаленьку.

Оба притулились у тележки. Джемал достал платок и утер пот с лица.

Разгрузив тележку, они выкатили ее наружу. Рядом с ними трудились остальные грузчики.

— Мы тут пашем, а он где-то шатается, — буркнул Тамаз.

— Ты о ком? — поинтересовался Джемал.

— О Сафо. А вот и он.

Сафо шагал по платформе.



Джемал с Тамазом наполнили тележку и потащили ее к складу. Сафо подошел к ним.

— Пойдем контейнеры перевозить, — позвал Джемала.

— Разгружу тележку и приду, — пообещал тот. Сафо закурил сигарету и направился к грузовику.

— Что, не привел? — спросил шофер, роясь в моторе.

— Сейчас разгрузит тележку и придет, — вяло протянул Сафо.

— Кого ты позвал?

— Новенького.

— Хороший парень?

— Да ну его...

— Вон ваш бригадир Хаджи сюда идет.

— Хорошо, что он пришел.

Хаджи подошел и поздоровался.

— Ну что, Хаджи, достал новые чехлы для своей машины? — обратился к нему шофер.

— Не тот человек Хаджи, чтобы не достать, — и Сафо угодливо улыбнулся.

— Из Москвы привез, — похвастался Хаджи.

На нем были джинсы фирмы «Вранглер» и наимоднейшие коричневые туфли на каблуке. Хаджи поигрывал цепочкой с ключом от собственной машины и пыжился так, словно вся база принадлежала ему.

— Что за парень этот новенький? — по-курдски спросил он у Сафо.

— Дрянь. От меня, говорит, ни копейки не получите.

— И это свой брат курд! Ну ничего, я с ним разберусь. Пусть прежде зарплату выпишут. А если не даст, то как пришел, так и уйдет. Не хватало мне еще таких в бригаде! Потом и другие облагнут. И почему его именно в мою бригаду послали? В кадрах говорят — даем тебе какого-то писаку. Издеваются, черти.

— Как это — писаку? — удивился Сафо.

— Ну, из этих, что в газетах пишут.

— Значит, он образованный?

— Вуз окончил.

— Чего ж он в грузчики пошел?

— Наверное, места не нашел.

— Тогда ты его так просто не уберешь. Да вон он идет, — указал Сафо на Джемала.

Тот остановился у грузовика. Закурив сигарету, смотрел, как шофер устанавливает карбюратор.

— Как тебе работа, Джелло? — Хаджи фальшиво улыбался.

— Ничего, работать можно, — Джемал присел на ящик, выпустил изо рта клуб дыма.

— Если ты хочешь работать в моей бригаде, мы должны понимать друг друга. Верно? Иначе дело не пойдет. Я думаю, ты догадываешься, о чем я говорю?

— Нет, не догадываюсь.

— Ну тогда лучше сразу же проси директора, чтоб перевели тебя в другую бригаду.

— Мне и здесь хорошо, — обиделся Джемал.

— Хорошо тебе или нет, еще увидим.

— Ты что, пугаешь меня?

— Нет, браток. Я предупреждаю тебя, — Хаджи говорил раздельно, с нажимом, чуть ли не по слогам.

Водитель грузовика наконец завел свою машину. Сафо сел в кабину и махнул рукой Джемалу:

— Садись, поехали!

— Куда ты его увозишь, Сафо? — крикнул Хаджи.

— Контейнеры надо перевезти, погрузить.

— Хорошенько запомни, Джемал, что я тебе тут говорил, — напомнил бригадир и направился к складу, где рабочие гремели своими тележками.

«Вот мерзавец! Что он здесь — царь и бог?! Интересно, кто стоит у него за спиной... Директор? Возможно. Видимо, этот подонок всех купил», — размышлял Джемал, стоя на ступеньке грузовика, который шел тяжело, оставляя позади себя клубы газа и запах бензина.

Машина подкатила к площадке, заставленной контейнерами. Шофер спустил над одним из них цепи с крюками. Джемал поднялся на кран и оттуда перелез на контейнер. Он продел крюки в кольца, слез на землю, и кран поднял контейнер вверх. Сафо сел в кабину, Джемал снова поднялся на подножку, и машина с натугой тронулась с места. Контейнер раскачивался в воздухе, время от времени с грохотом ударяясь о стенку кабины.

К полудню они перевезли двадцать контейнеров. Потом Сафо снова отправил Джемала на разгрузку машин, предупредив, что после перерыва ему надо снова заняться загрузкой пустых контейнеров.

Джемал поднялся на платформу.

Груза оставалось от силы на две тележки. Он снова принялся вместе с Тамазом перетаскивать ящики.

Когда рабочие разгрузили машины, как раз пришло время обеда. Они пересекли территорию базы и вошли в столовую. Вымыли руки, взяли по тарелке харчо, сели за столики. Со стороны буфета и кухни доносились шум и возня. В столовую величественно вошли завскладами. Они заказали повару обед по собственному вкусу, взяв в буфете лишь холодные закуски и напитки. Низенький толстый повар сначала вынес им жаркое с картошкой, затем соус. Завскладами сдвинули столы и приступили к трапезе.

— Вот у кого деньги водятся, — указал на них Тамаз. — У каждого собственная машина около ворот стоит. Видишь, как их повар ублажает? Он с этого тоже кое-что имеет. Для рабочих бросит пару костей в эту бурду, которую мы называем харчо, или в шницели половину хлеба положит, а этим, гляди, полную тарелку мяса подает.

После перерыва часть бригады грузила контейнеры, остальные — машины, прибывшие из районов. Работа попадалась то тяжелая, то полегче. Джемалу приходилось трудновато. Нагрузив один контейнер, он незаметно для остальных провел рукой по спине: лопатки вспухли, они были в ссадинах и горели.

Вечером, поужинав в кафе «Наргизи», Джемал не спеша двинулся вдоль проспекта Руставели. От усталости у него ломило все тело, но особенно ныли лопатки. Он так устал, что до площади Ленина проехал две остановки на троллейбусе. Затем свернул на улицу Дадиани, а оттуда — на Лермонтовскую. «Интересно, как отнесутся родители Хатуны к моему разрыву с отцом и к тому, что теперь я снимаю комнату? Вот переполох будет!» — подумал он.

Дверь открыла мать Хатуны — кокетливая, чрезвычайной подвижная женщина.

— Ну, как дела, как поживаете, гость дорогой? Садись сюда, — указала она на диван. — Мы слышали, у тебя неприятности с отцом.

— Да, тетя Зайтун.

— С отцом тебе лучше не ссориться. Если рассердишь его, он может не разрешить тебе жениться...

— Об этом не беспокойтесь. У вас можно курить?

— Конечно, кури. Но где ты возьмешь деньги на калым? Представляешь, сколько денег нужно? Сначала помолвка, потом свадьба... На каждом шагу расходы. А откуда у тебя, только что окончившего вуз, столько денег? Так что лучше уж послушай отца! У Хасана все есть — дом, хозяйство, деньги, машина... Будешь с ним по-хорошему — в конце концов все это достанется тебе. Твои братья живут отдельно. Ты один, самый младший, остался с отцом. Стало быть, и дом, и хозяйство должны перейти к тебе. Так уж заведено — все остается младшему сыну.

— Мне от отца иголки не надо, тетя Зайтун. Я ушел от него, снял комнату, тут недалеко, на улице Чонкадзе.

— А Хатуна? О ней ты не думаешь?! — всполошилась Зайтун. — Где ты калым возьмешь? Мой муж соблюдает старинные обычаи, он свою дочь без калыма никому не отдаст!

— Сейчас не то время, тетя Зайтун! Теперь братья калым — позорно и унижительно и для невесты, и для жениха. Главное — чтобы они друг другу нравились и любили друг друга...

Зайтун молча слушала Джемала. Впрочем, было очевидно, что она ничего не понимала и лишь удивленно хлопала глазами. У нее была своя точка зрения на этот предмет, у Джемала — своя. Поэтому достичь взаимопонимания будущие зять и теща не могли.

— Где Хатуна? Мне надо поговорить с ней, — сказал в заключение Джемал.

— Пошла в магазин, сейчас придет, — недовольно буркнула Зайтун и вышла из комнаты.

«Не понравилось ей, что я ушел от отца. Оставила меня одного и даже не извинилась». Джемал недовольно покачал головой.

Вскоре пришла и та, кого он ждал.

Хатуна впрорхнула в комнату и уселась на диван. Джинсовое платье плотно обтягивало ладную фигурку этой смуглой привлекательной девушки. Глаза у нее были огромные, лучистые, черные, как ночь.

«Наверное, мамаша ей все уже нашептала. Уверен, что ничему хорошему она свою дочь не научит», — пронеслось в голове Джемала.

— Ну, как ты поживаешь? Что нового? — беспечно протянула девушка.

— Я ушел от отца и снял комнату на улице Чонкадзе.

Хатуна встрепенулась, изменилась в лице.

— Интересно, а на что ты рассчитываешь? Как собираешься жить?

— Я начал работать грузчиком. Буду получать две сотни в месяц. В общем, нуждаться не будем.

— Грузчиком?! Вот уж чего не ожидала!

— Почему?

— Потому! Ты, кажется, готовился к карьере журналиста. Я думала, не сегодня-завтра устроишься в какую-нибудь редакцию, а ты взял и пошел в грузчики...

— Ну и что же? Что здесь удивительного? Пока найду работу по специальности, поработаю немного грузчиком. Главное, я продолжаю писать. Сейчас работаю над очерком. Думаю, его не откажутся напечатать...

— Впрочем, мне-то какое дело, меня это не касается. Я тебе только одно скажу: ты много потерял, уйдя от отца. Заботы о хлебе насущном помешают тебе писать. А у отца ты вообще никаких забот не знал. Мог думать только о книгах, о расширении своих знаний...

— Человек должен всего добиться сам, Хатуна. Мне от отца ничего не надо, понимаешь? Ты скажи только — согласна выйти за меня? Вот за такого, какой я есть?

— И жить, снимая комнату? — усмехнулась Хатуна.

— Да, снимая комнату.

— С какой это стати, интересно знать, я должна

мыкаться по чужим углам? Я, дорогой мой, хочу жить хорошо. А ты мне что предлагаешь? Нет уж, не обижайся, но я не согласна.

— Ясно...

Джемал резко поднялся и вышел. Его душили гнев и обида.

На улице было темно. Шел дождь. Сырость и холод пронизывали до костей.

Весь вечер его не покидало ощущение одиночества. Не было настроения ни писать, ни читать. Он то ложился на постель, не раздеваясь, то подолгу стоял у окна, глядя, как монотонно льет дождь, и курил сигарету за сигаретой.

Наконец, немного успокоившись, разложил на столе свои записи и продолжил работу над начатым очерком о жизни и деятельности известного ученого. В публичной библиотеке Джемал ознакомился с его трудами и биографией, а потом несколько раз встречался с самим академиком.

Перепечатав очерк на машинке, перечитал его, чтобы завтра отнести в редакцию. Сладко потянувшись, открыл окно, под которым росла акация. Дождь все лил и лил... Во дворе стояли лужи.

Изнемогая от усталости, Джемал лег, но долго не мог уснуть. Все думал о Хатуне. Лишь к рассвету забылся тревожным сном. Утром он чувствовал себя совсем разбитым.

Когда Джемал добрался до своей базы, внезапно налетевший ветер разогнал облака. Выглянуло солнце и стало тепло.

— Здравствуйте, — приветствовал он сторожа.

— Здорово. Ну как, привыкаешь к работе?

— Ничего. Трудновато, но что поделаешь.

— Зато каждый день имеешь вот это, — сторож сложил три пальца щепотью, пошевелил ими и подмигнул.

— Откуда имею? — простодушно спросил Джемал.

— Хе, хе, хе! Вчера после обеда сам, небось, грузил машины из района. А теперь спрашиваешь — откуда!



— Я контейнеры грузил, машины разгружали дру-
 гие.
 — Ну так что же, твою-то долю все равно должны
 были дать! Не будь рохлей, парень, иначе эти разбой-
 ники живо тебя объегорят. Разгружать машины из
 районов — это же не ваша обязанность. Поэтому за
 разгрузку вашим ребятам всегда платят.

— Ладно, буду знать.
 — Ну, давай, гляди в оба, — хихикнул сторож.
 Джемал поспешил к раздевалке. Рабочие переде-
 вались и спорили о футболе.

— Как дела? — подошел к нему Тамаз.
 — Ничего. У меня сегодня одно дело есть, хочу
 отпроситься на два часа раньше.
 — Скажи Сафо.

Помощник бригадира сидел на табурете и наде-
 вал ботинки.
 — Сафо, мне сегодня надо на два часа раньше уй-
 ти, — попросил Джемал.

— Ну, так иди. Запишу тебе сегодня шесть часов
 в табеле вместо восьми, — хмуро отозвался Сафо.
 — Запиши. Кстати, где моя доля за вчерашнюю
 разгрузку? — вспомнил Джемал совет сторожа.

— Вот твои деньги, никто их не съел.
 Сафо вытащил из кармана пачку денег и отсчитал
 Джемалу семь рублей.

На том их разговор и кончился. Рабочие вышли
 из раздевалки.

— Сегодня пригнали вагон с парфюмерией. На-
 верное, в хранилище номер три, — сообщил Сафо ра-
 бочим. Потом по-курдски крикнул худому высокому
 грузчику:

— Темур! Бери троих на вагон. Ханат, Нодар и
 Сандро пойдут с тобой. Вскроете вагон и начнете по-
 тихоньку разгружать.

Посмотрев на Джемала, Сафо и его отправил на
 разгрузку вагона, пообещав прислать еще несколько
 человек.

Рельсы проходили за складами. Рабочие пересекли
 хранилище и вышли на платформу. Вооружившись ло-

мами, с трудом вскрыли вагон. В ноздри ударили ароматы парфюмерии.

Грузчики наполнили тележки и покатали на склад. В хранилище распространились запахи одеколона, духов, мыла, стирального порошка...

Когда вывезли десять тележек, проход в вагоне расчистился, и теперь внутри могло двигаться больше людей. Однако новые грузчики не показывались, и вагон по-прежнему приходилось разгружать вчетвером. Через некоторое время пришли еще четверо, и дело пошло быстрее.

Время от времени грузчики устраивали перекур. И первым прекращал работу Джемал, так как уставал сильнее и быстрее других.

В четыре часа он переоделся, сунул под мышку сверток в газетной бумаге — это был его очерк, и поспешил в редакцию. Шагал бодро, довольный собой и жизнью...

Пройдя мимо витрин магазинов, Джемал вошел в помещение редакции. Приоткрыл дверь редакторского кабинета. Рано поседевший молодой человек с увлечением что-то читал. Потом оторвался от чтения.

— Слушаю вас.

— Я принес очерк...

— Что ж, давайте его сюда...

Окончив чтение очерка, редактор протер ладонью усталые глаза и посмотрел в окно.

— Ваш очерк не лишен интереса. Написан просто, лаконично. Но в настоящее время мы буквально завалены аналогичными материалами и не сможем его напечатать. Загляните недельки через две.

...Погода была пасмурная и усугубляла досаду Джемала. Он шел и думал: «Да, непростое дело журналистика... К тому же я не знаю толком, есть ли у меня к ней способности... Может, я вовсе не своим делом собираюсь заниматься...»

Внезапно заскрипевшие тормоза оборвали его мысли. Джемал обернулся. Из машины высунулся его сосед Ростам. На заднем сиденье его «Жигулей» развалились две девицы в модных куртках.

— Садись, Джемал, поедем, — предложил Ростам.

Девицы смотрели на него влажными, блестящими глазами.

— Нет, спасибо, — немного поколебавшись, Джемал отказался.

Ростам рванул машину с места и на полном газу помчался вниз по спуску Элбакидзе.

Джемал перешел улицу и поднялся в троллейбус, который довез его до площади Ленина. У Пушкинского сквера он сошел.

Стемнело. Люди спешили с работы домой. Часы на башне горсовета пробили семь раз.

Перед магазином канцелярских товаров Джемал заметил своего деда Саидо. Он стоял под платаном у подземного перехода с неизменным мундштуком в зубах.

«Наверное, дедушка Саидо опять вспоминает Турцию», — улыбнулся Джемал и направился к деду.

Когда этот низенький согбенный старичок рассказывал о Турции, его печальные задумчивые глаза оживлялись небывалым блеском. Сейчас он стоял, перебирая четки, и беседовал с тремя курдами из этого квартала. Они собирались здесь после рабочего дня и развлекали друг друга разными историями. Джемал поздоровался со всеми и поцеловал дедушку Саидо. Затем по курдскому обычаю справился у каждого в отдельности о его здоровье. Все ответили ему тем же, и старый Саидо продолжил свой рассказ.

Он говорил о том, как турки сеяли злобу и вражду между курдскими племенами, чтобы те не объединились против общего врага и угнетателя, как возникла ссора между курдами-езидами и курдами-мусульманами.

«По вечерам мы собирались в «оде», — вспоминал старик. — «Ода» была нашим местом развлечений. На полу был расстелен ковер. На нем сидели старейшие и избранные люди из селений, за ними те, что помоложе, а также юноши и дети.

В тот вечер в «оде» шел разговор об урожае, о том, сколько будет стоить овца на Стамбульском и Измирском базарах, о разгоревшейся мировой войне и о вводе русских войск в Турецкий Курдистан.

Под конец знаменитый певец Азиз Мхо поразил всех своими песнями. На том собрании в «оде» завершилось.

На дворе шел снег — впервые в эту зиму, и к утру все вокруг было белым-бело.

Утром в наше село вошли русские войска. Они прошли по деревне и разбили лагерь на берегу реки. Курдские батальоны никаких препятствий русским не чинили и спокойно разошлись по домам, так как знали, что русские не станут обижать курдов.

Если русское войско в чем испытывало нужду, то покупало все необходимое у населения. Не заплатив, русские не брали ничего, иногда они платили даже больше, чем следовало.

Короче говоря, сильная Россия нас защищала, и мы думали, что турки уже никогда не вернуться.

Но радость наша оказалась недолгой: русские войска оставили Турецкий Курдистан и вернулись в Россию.

Султан, не теряя времени, направил к нам свое войско. В наших селах собрались курдские дружины и далеко отбросили врага.

Однако турки пошли на нас еще более многочисленным войском, и мы решили бежать, рассеяться, покинуть земли наших предков. Сердца наши наполнились печалью, и от досады мы сжигали родные села, покидая места, где родились и выросли, где прошли наши детство и юность...

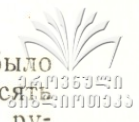
Тысячи беженцев заполнили дороги. Мы шли и шли, ехали на повозках, на лошадях, уносили с собой, что могли.

С величайшими мучениями достигли русско-турецкой границы. Но потом нам пришлось вынести еще больше горя. Многих унесли голод и холера.

Несколько курдских племен нашли пристанище в Армени, остальные осели в Грузии...

Мне, выросшему в горном Курдистане, прежде никогда не доводилось видеть большой город вроде Тбилиси. Высокие дома в несколько этажей, мощеные улицы, фаэтоны и трамваи изумляли меня и внушали робость. Раньше я думал, что Тбилиси такой же, как мое село.

Мой старший брат приискал мне место слуги в до-



ме одного грузинского полковника. Мне тогда было лет двенадцать-тринадцать. В месяц я получал десять рублей. В мои обязанности входило мести двор, рубить дрова, носить их на третий этаж, а также таскать с базара корзины, полные фруктов и овощей».

Старший Саидо закончил свой рассказ и вытряхнул окурок из мундштука.

Историю эту Джемал знал прекрасно, тем не менее снова с интересом слушал ее.

Джемал и Саидо медленно шли по улице.

— Когда ты ушел из дома, я здорово повздорил с твоим отцом. С того дня с ним не разговариваю. Я ему сказал: «Ты не человек». В дом захожу — даже не гляжу в его сторону. Что я, его хлеб ем? У меня своя пенсия, мне его благодарить не за что. Ты как ушел, я всю ночь не спал, думал, как это мальчик один будет. Вернись, Джемал. Я тебя очень прошу. Хотя бы ради меня вернись, — Саидо умоляюще посмотрел на внука.

— Нет, дедушка, не вернусь... Ты-то сам как живешь?

— Так-то оно ничего, только досадно, что не работаю больше. Постарел я, мой мальчик.

— Дальше уж сам иди, дедушка!

— Пойдем вместе, Джемал, пойдем домой!

— Нет, дедушка, не проси зря.

— Ну, как знаешь, — старик отвернулся и, постукивая палкой, стал продвигаться вперед.

В день получки грузчики ушли с базы пораньше. У окошка кассы стояло много народу. Наконец подошла очередь Джемала. В этот день он получил свою первую зарплату.

— Эй, Джело! — позвал его сзади кто-то по-курдски.

Джемал обернулся. За ним стоял Хаджи.

— Видишь, я тебе ничего не убавил, — произнес он с нажимом.

— Скажи прямо, чего тебе надо? — спросил Джемал.

— Мне нужны деньги на расходы.

— Если у тебя есть расходы, ты и плати. ^{Что, у} тебя денег нет?

— Смотри, лучше не прыгай! — зловеще ^{прошеп-}тал Хаджи и отошел в сторону.

«Если им раз уступишь, они потом будут из тебя веревки вить...»

Проснулся он от солнечного света, бившего в окно. Вскочил с кровати и бросил взгляд на часы — половина девятого. Он даже не стал умываться, только пригладил волосы и помчался на работу, чтобы не опоздать, так как опасался, что Сафо и Хаджи не простят ему этого.

Но до базы Джемал добрался лишь без четверти десять. Работа уже кипела вовсю. Он поспешно переоделся, вышел во двор и поднялся на платформу.

— Посмотрите на него, как большое начальство является на работу в десять часов!.. Сегодня же доложу директору. Пусть переводит тебя куда хочет! — раскричался Хаджи.

— Я забыл завести будильник и проспал. Запиши мне в табеле на час меньше.

— Да ты вообще работать не можешь. Все жалуются на тебя, — вмешался в разговор стоявший неподалеку Сафо.

— Кто жалуется? Назови хотя бы одного! Скажите прямо, что хотите избавиться от меня!

— Сафо, поди-ка сюда, разговор есть, — позвал Хаджи своего помощника. — Собери у нескольких подписи, что он плохо работает и привези вечером в контору докладную. Зайдем вместе к директору. Может и вправду удастся от него избавиться.

— Надо убрать его отсюда, Хаджи, не то он всю бригаду взбунтует. Грузчикам говорит: зачем, мол, отдаете бригадиру деньги, которые своим горбом заработали...

— Во все сует свой нос. Надо быть осторожнее, Сафо. Не так-то просто от него избавиться. Посмотрим, что скажет директор.

Хаджи ушел, а Сафо вернулся к грузовику. Он направил Джемала на самую тяжелую и грязную работу, и тот трудился, выбиваясь из сил.



На следующий день Сафо сообщил Джемалу:

— Сегодня в час дня тебя вызывает директор. Поскольку тебе в двенадцать уходить, поможешь ребятам на разгрузке вагона.

Ничего не ответив, Джемал вместе с другими отправился разгружать вагон.

— Медзмариашвили у себя? — спросил он у секретарши.

— Обождите. Там у него начальник отдела кадров и бригадир пятнадцатой, — ответила секретарша, читая в журнале приказы.

— Я как раз из пятнадцатой. Директор вызвал меня на час дня.

— Ну, загляните тогда.

Джемал приоткрыл дверь кабинета:

— Можно?

У директора были начальник отдела кадров и Хаджи. Все трое обернулись к нему.

— Это тот самый парень, батоно Шалва, насчет которого вам вчера подали докладную, — прошептал Хаджи.

Медзмариашвили кивнул бригадиру—ясно, мол,— и обратился к Джемалу:

— В чем дело, молодой человек, почему на тебя жалуются бригадир и его помощник? Вот, докладную записку представили, что на работу опаздываешь, плохо работаешь, товарищам помочь не можешь. Несколько рабочих подписались под письмом. Пишут, что ты тяжести таскать не в силах и вообще неспособен к физическому труду.

— А-а, этот тот самый? — протянул начальник отдела кадров, взглянув на Джемала поверх очков. — Я же тебя предупреждал, дорогой мой, что люди ученые в грузчики не годятся.

— Кто вы по специальности? — спросил директор.

— Окончил факультет журналистики.

— Что же вы не работаете по своему профилю?

— Пока я внештатный корреспондент. Пишу разные материалы для газеты. Когда будет место, меня возьмут в штат.

— Ну хорошо. Почему вы являетесь на работу в половине десятого? Почему плохо работаете? Человек вы молодой, здоровый, силы и энергии вам не занимать. В чем же тогда дело? Что вам мешает?

— Ничего мне не мешает. С тех пор, как начал работать, я опоздал только один раз, вчера: забыл завести будильник и проспал. А те, кто подписал эту бумагу, будто я тяжести таскать не могу, — это родственники Сафо и Хаджи. Они работают, как им вздумается, захотели — пришли, захотели — ушли. Я выступил против таких порядков, и, ясное дело, они мне теперь враги. А что до Хаджи и Сафо, так мы с ними с самого начала не поладили. Как только я пришел в бригаду, они потребовали, чтобы я им с каждой полочки отдавал по десятке на расходы — дескать, кому-то в конторе надо давать. Я, конечно, не согласился, вот ко мне и придираются.

Хаджи смутился. Такого откровенного разговора он не ожидал. Директор тоже чувствовал себя неловко. Начальник отдела кадров с удивлением уставился на Джемала поверх очков, словно говоря: «Ну и дерзок же ты, парень!»

— Как это требуют денег!? — воскликнул директор.

— Это клевета, батоно Шалва! — притворно возмутился Хаджи.

Джемал выбежал из кабинета.

С того дня бригадир неожиданно притих и больше не тревожил Джемала своими поборами. Возможно, он испугался, как бы тот не «прописал» его в газете или, чего доброго, не водворил опять туда, где он уже дважды побывал. После разговора у директора Сафо и Хаджи стали посылать Джемала на самую «приличную», нетрудную работу. Грузчики немало дивились этому.

«Наверняка директор вразумил этих молодчиков», — предположил Джемал, анализируя эту перемену.

В середине июля он взял отпуск за свой счет и отправился на Черноморское побережье.

Прямо у моря, на склоне горы раскинулась небольшая деревушка. Джемал снял комнату на чердаке за два рубля в день.

Немного отдохнув, он с полотенцем на плече спустился к морю.

Солнце садилось, но было все еще жарко.

Джемал вошел в море. Вода была теплой и ласковой. Проплыв несколько метров, он перевернулся на спину и некоторое время любовался плывущими по небу белыми облаками, ни о чем не думая.

Каждый день он покупал в киоске целую кипу газет. Читал, думал, сравнивал. Порой от скуки шел в кино или на танцы, где, впрочем, никогда не задерживался. Если фильм был хороший — смотрел до конца, если же нет — возвращался домой.

Как-то, проходя мимо почтового отделения, он решил на всякий случай отправить своему тбилисскому хозяину телеграмму с просьбой переслать ему сюда письмо из редакции, если таковое будет.

И спустя три дня здешняя хозяйка вручила ему конверт с тбилисским штампом. В нем оказалось пересланное стариком письмо из редакции следующего содержания: «Считаем, что Ваши статьи заслуживают внимания. Просим зайти в редакцию, чтобы обговорить условия Вашего дальнейшего сотрудничества с нами». И — подпись редактора.

«Наконец-то! Теперь можно будет подать Хаджи заявление об уходе», — злорадно торжествовал Джемал.

А через два дня из Тбилиси пришла горестная телеграмма—его отец Хасан погиб в автомобильной катастрофе. В тот же день Джемал вылетел в Тбилиси.

Поднявшись по лестнице, он увидел своих братьев у дверей квартиры, которую Хасан купил недавно (прежде он жил в соседнем дворе вместе с престарелым отцом, Саидо). Старый Саидо тоже был там. Джемал поцеловал их всех и встал рядом.

Как это обычно бывает, смерть унесла с собой все обиды, всю досаду...

Когда Джемал вернулся с работы, хозяин уже во дворе сообщил ему:

— Вас дожидается жена!

— Какая жена?!

— Как это «какая»? У вас их несколько?

— У меня вообще нет жены!

— Тогда идите к себе и сами увидите, если она у вас или нет, — рассмеялся старик.

Джемал прошел к себе. В комнате у стола сидела Хатуна. Увидев Джемала, она встала и пошла ему навстречу.

— Во всем была виновата мама, — начала она, глядя на Джемала своими огромными лучистыми глазами. — Это она велела мне отказать тебе. А теперь отец хочет выдать меня за своего двоюродного брата. Но я ни за кого, кроме тебя, не выйду. Вот и пришла к тебе...

Джемал молчал.

— Ты не представляешь, как я переживала, — продолжала оправдываться Хатуна. — Я, правда, была неправа... Но и ты — хорош...

А Джемал старался удержать себя, «Нет, не пойду к ней. — говорил он себе мысленно. — Не могу забыть, как она отказала тогда мне. А теперь пришла... Может, надеется, что после смерти отца я вернусь к своим...»

— Джемал, ты же знаешь, как я люблю тебя...

Хатуна стояла перед ним жалкая, поникшая, и Джемал не выдержал. Ему стало до боли жаль ее, в сердце проснулась прежняя нежность. Он молча прижал ее к себе...

Когда утром следующего дня они вышли из своей комнаты, их встретил старик-хозяин.

— Ну вот, — улыбаясь, сказал он. — А говорил — не женат. Кто же тогда эта красавица?

— Моя жена.

— А вчера она не была вашей женой?

— Не была.

— Ну и шутник же вы, — расхохотался хозяин.

Счастливые Джемал и Хатуна тоже весело рассмеялись...



БОЛЬШОЙ ДЕНЬ

В жизни известного грузинского писателя, блестящего мастера слова Константина Лордкипанидзе 3 июня 1985 года — наиболее памятный день. Нельзя было не заметить того необычайного волнения, какое он испытывал, беседуя с телезрителями — своими читателями во время одной из передач центрального телевидения. Это совершенно естественно. Такое волнение всегда сопутствует великой радости; более чем полувекковые неутомимые творческие искания писателя, смелость его художественного мышления, отвага, проявленная в годы войны, и неустанный труд в мирное время по достоинству оценены партией и народом.

Присвоение высокого звания Героя Социалистического Труда грузинскому писателю свидетельствует о многом. Это своего рода подтверждение неодолимого движения вперед грузинской литературы, ее признания на всесоюзной и мировой арене. И в то же время это праздник грузинской советской культуры, большая победа грузинского романа, грузинской повести и рассказа.



Неутомимый труд, бессонные ночи Константина Лордкипанидзе, с фанатическим упорством ищущего в богатом и щедром грузинском языке те самые сокровенные слова, которые наиболее точно, весомо и исчерпывающе выразили бы его замысел, вдохнули жизнь в персонажи, приобщили к надеждам и чаяниям нашего народа, — не пропали даром.

Поздравим же нашего давнего и дорогого друга с высокой правительственной наградой, пожелаем ему долгих лет жизни и новых свершений на благо нашей Родины.

Георгий НАТРОШВИЛИ

* * *

В связи с присвоением К. А. Лордкипанидзе звания Героя Социалистического Труда мы не можем не вспомнить о том, что он был первым редактором «Литературной Грузии», что именно его ум, воля, энергия, авторитет и талант писателя во многом способствовали становлению этого журнала. И вот теперь, спустя почти три десятилетия со дня выхода первого номера журнала, редколлегия и коллектив нашей редакции рады поздравить Константина Александровича со столь высокой оценкой его многолетнего плодотворного творческого труда.

Владимир ОСИНСКИЙ

УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ

●
О черк

«Почему это устанавливают памятники разным людям, а почему бы не поставить памятник Луне или цветущему дереву?»

Эрих Мария Ремарк
«Три товарища»

ЖИВЕШЬ — убеждаешься: полезно иногда задуматься о вещах обыкновенных, привычных и потому незамечаемых. Чем чаще мы пользуемся каким-либо атрибутом окружающего мира — и, следовательно, больше в нем нуждаемся, — тем меньше уделяем ему внимания. (Такова уж одна из граней парадоксальности нашего восприятия действительности; и не в подобной ли бездумности таится одна из причин преступно-безответственного отношения Человека к Природе, в результате которого он панически кричит сегодня о святости экологического равновесия?) Скажите по-доброму: что вы делаете, когда из крана перестает течь вода? ...Правильно — звоните по соответствующему номеру или, если случайность перешла в закономерность, бессильно негодуете по поводу плохой работы коммунальной службы. Однако не проявляется ли в такой реакции все та же безмятежная, легкомысленная уверенность в неисчерпаемости природных богатств?

В «Советском Энциклопедическом Словаре» читаем о воде следующее: «...Самое распространенное вещество в природе (гидросфера занимает 71 процент поверхности Земли). В. принадлежит важнейшая роль в геолог. истории планеты и возникновении жизни. Без В. невозможно существование живых организмов (ок. 65 процентов человеческого тела составляет



В)... Общие запасы — 1454,3 млн. км³ (из них менее 2 процентов относятся к пресным водам, а доступны для использования 0,3 процента)».

Не слишком утешительное соотношение... А ведь «доступны для использования» еще не означает «используются».

Вот для того, чтобы еще какая-то доля воды из первой означенной категории «перетекла» во вторую, в пятидесяти километрах от Тбилиси сейчас заканчивается строительство Жинвальского комплексного гидроузла. Воздадим же должное огромной важности этого события, запланированная неизбежность которого в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года» была обозначена четырьмя словами: «Завершить сооружение Жинвальского гидроузла...».

Специалист непременно скажет «комплексный», ибо это сложное и в известном смысле уникальное гидротехническое сооружение призвано служить сразу трем целям: производству электроэнергии, хозяйственно-питьевому водоснабжению и орошению. Суммарная мощность четырех агрегатов ГЭС составляет 130 мегаватт, и весь ток полностью вольтется в энергосистему республики; в Тбилиси будет поступать 5 кубометров воды в секунду; 60 тысяч гектаров засушливых земель в предгорьях Кавказа получают долгожданную влагу. Мы еще вернемся к этим цифрам — и увидим, что при всей своей безотносительной красноречивости в сравнении с другими они обретут куда большую выразительность. Пока же запомним: задача водоснабжения столицы республики — главная из трех.

Реки вообще прекрасны, независимо от их индивидуальных характеристик. И стремительные горные, и неторопливые, величаво-полноводные равнинные, они всегда олицетворяют непрестанность движения жизни во Времени и Пространстве. Не вызывает сомнения закономерность выбора, сделанного древним поэтом в поисках образа Вечности: мифическая Лета, река забвения... Но земные наши, реальные реки побуждают к иным сравнениям и эпитетам. Великие труженицы, безустанно и бескорыстно работающие на человечество! — вот что хочется сказать о них в век тотальных НТР и НТП. Приобщение Арагви к числу рек, интенсивно служащих научно-техническому прогрессу, началось в 1971 году. За прошедшее время здесь совершились перемены, масштабы и последствия которых, без малейшего преувеличения, огромны.

Стометровая насыпная плотина, уже заполняемая водой, чаша водохранилища емкостью полмиллиарда кубометров, раз-

ного рода другие гидротехнические и вспомогательные сооружения, разительно изменившие облик долины, впечатляют чрезвычайно. Однако еще более сильно действуют на воображение вещи, визуально не воспринимаемые, поддающиеся выражению только в цифрах. Итак, цифры — и сопоставления.

Общий дебит (просьба не путать с бухгалтерским дебетом), то есть объем воды, ежесуточно поступающей в тбилисский водопровод сто лет назад, равнялся 20 тысячам ведер, а один Жинвальский гидроузел будет давать городу пять кубометров питьевой воды в секунду. Даже округляя «в пользу прошлого», получаем внушительный результат: в 2000 раз больше!

Так — будет. Чтобы так было, люди проделали громадную работу. Точнее, они прошли почти все расстояние до цели: сметная стоимость строительства Жинвальского комплексного гидроузла равна 194,2 миллиона рублей; на 1 января 1985 года был освоен 171 миллион. И, наконец, еще одна цифра, в какой-то степени позволяющая оценить размеры затраченного на стройку человеческого труда, — в тело плотины уложено 6 миллионов кубометров грунта.

Можно избрать путь этакой литературной живописи на «строительную тему». Вряд ли он приведет к эффекту присутствия. Лучше, уж коль скоро мы «начали с конца», мысленно вернуться в 18 апреля нынешнего года — день, когда началось заполнение Жинвальского водохранилища. Оно уже завершается. Теперь река подводит чергу под многолетними человеческими усилиями. Скрылись под спокойной гладью воды веками стоявшие под небом скалы, старые покинутые деревни, временные грунтовые дороги, проложенные строителями, — еще один кусочек необъятной и такой маленькой в беспредельности космоса планеты Земля изменился неузнаваемо и необратимо. Но Арагви — не сказочная Лета. Трудовой подвиг строителей не подлежит забвению.

На празднике заполнения водохранилища бригадир проходчиков Георгий Мацаберидзе вспоминал интересные вещи. Двухметровая стальная балка, применяющаяся при креплении штольни, выдерживает нагрузку в 1 000 тонн. В ходе сбояки водоводной магистрали бригада была вынуждена менять за смену до десятка таких балок — они не выдерживали колоссального давления недр. А воды в забой просачивалось до ста сорока литров в секунду... Всего один штрих из славной жинвальской эпопеи — для нас штрих, для строителей это

были секунды, часы, дни, месяцы жестокого единоборства стихий.



Греческое слово стихия в буквальном переводе означает первоначало, элемент. Чаще толкуется как «явление природы, проявляющееся в виде могущественной разрушительной силы». Именно с этим его толкованием приходилось встречаться строителям.

Длина отводящего туннеля гидроузла — 8,9 километра. Проходка трех с половиной из них потребовала втрое больше времени, чем вся остальная часть. Причина — сверхвысокое горное давление. Небезынтересно вникнуть в суть термина. Оказывается, горное давление формируется в недрах Земли вследствие естественных и производственных воздействий. К первым относятся гравитация, тектонические и другие процессы. Ко вторым, в частности, строительство подземных сооружений. (Кстати, Жинвальская ГЭС станет четвертой в республике подземной, ее предшественницы — Храмская, Ладжанурская и Ингурская гидроэлектростанции.) Не столь, однако, важны для нас причины возникновения сверхвысокого горного давления, сколько его последствия: деформация, смещение и разрушение элементов породных массивов, земной поверхности и т. д.

У Артура Конан Дойла есть небольшая научно-фантастическая повесть «Когда Земля вздрогнула» — на редкость изящное сочетание остроумной шутки с попыткой предвидеть возможные последствия грубого вмешательства в дела Природы. Там, если помните, некий неугомонно-пытливый профессор Челленджер роет глубочайшую шахту, чтобы доказать верность гипотезы: Земля — живое существо, способное ощущать боль и реагировать на нее. Он добивается своего...

Строители Жинвальского гидроузла не задавались подобной целью. Они вторглись в район тектонического разрыва вынужденно — и потратили невероятное количество труда, чтобы овладеть ситуацией. (Как всегда в экстремальных условиях, здесь выявилась и другая, радующая глаз сторона медали — высокие нравственные, интеллектуальные качества, и мы еще поговорим об этом более предметно.) Авторитетные зарубежные специалисты, познакомившись с картиной, были потрясены: обычно горное давление не превышает 10—15 тонн на квадратный метр; тут оно достигало трехсот... В Жинвали гидростроители столкнулись с самым высоким в отечественной, а может и мировой, практике горным давлением — и

с честью вышли из труднейшего поединка с возмущенной дерзким вмешательством Стихией.

Однако при всей впечатляющей внешней (и, в первую очередь, действительной) трудности задачи, которая встала перед ними на участке тектонического разрыва, куда сложнее оказались проблемы, в комплексе прозаически именуемые совершенствованием организации труда и управления производством. Точнее будет сказать так: именно достигнутые ранее глубокие качественные и количественные сдвиги в сфере организационной позволили позже одержать верх над стихией при минимальных потерях и затратах.

Потом, информируя о проведенной работе Центральный Комитет Компартии Грузии, секретарь парткома стройки Отар Закаидзе напишет, что «в первые годы строительство Жинвальского комплексного гидроузла велось низкими темпами», что «ощущалась острая нехватка трудовых ресурсов, не уделялось должного внимания прогрессивным методам организации труда, крайне низкой была трудовая дисциплина», что «систематически не выполнялись плановые задания...»

В жизни это выглядело так: за весь 1978 год было пройдено 400 метров отводящего тоннеля. Мизерность цифры станет очевидной рядом с другой — в следующем году жинвальцы прошли в тех же гидрогеологических условиях ровно в шесть раз больше. На этом метаморфозы не кончаются. В 1978 году в сравнении с предыдущим объем выполненных строительно-монтажных работ увеличился на 277,9 процента, производительность труда выросла на 245,3, а заработная плата — на 116,7 процента. Если в 1977-м управление допустило удорожание себестоимости строительства на миллион шестьдесят тысяч рублей, то в 78-м сэкономило 10 тысяч и в 79-м — уже 580 тысяч рублей. Стройка — единый живой организм, она дееспособна, лишь когда здоровы все органы. Столь разительные сдвиги не стали бы возможны без остальных факторов — в особенности таких важных, как дисциплина. И факторы эти также были использованы. За год число прогулов сократилось втрое, в течение 1979-го — еще в 3,6 раза, а на хозрасчетных участках начиная с 1981 года не совершалось ни одного прогула.

Проскользнувшее словосочетание «хозрасчет» содержит ключ к объяснению природы резких позитивных изменений, масштабы которых в ином случае могли бы показаться если не неправдоподобными, то уж чудесными — наверняка.

Нет надобности разъяснять принципы бригадного подряда, доказывать жизненность этой прогрессивной формы организации труда, ее соответствие современным требованиям. Широко известен — думается, и тем, кто не имеет непосредственного отношения и материальному производству, — опыт коллектива строителей, руководимого Героем Социалистического Труда Николаем Злобиным. Он давно стал достоянием миллионов людей, работающих в разных отраслях народного хозяйства, и в популяризации идея хозрасчетных бригад не нуждается. Вместе с тем остается актуальной задачей ее дальнейшее воплощение в жизнь, что и было со всей определенностью подчеркнуто на апрельском (1985 года) Пленуме ЦК КПСС: «Большое значение имеет доведение принципов хозяйственного расчета до всех первичных трудовых ячеек, до каждого рабочего места. Это позволит сомкнуть меры по совершенствованию системы управления сверху с развитием коллективных форм организации и стимулирования труда снизу, поднять активность трудящихся».

На далеко не оригинальный, однако неизбежный журналистский вопрос: «Что в первую очередь определяет успех вашей работы?» — начальник строительства Жинвальского комплексного гидроузла Автандил Иродионович Чаладзе отвечает: «Правильная организация труда», — и это звучит так же естественно, как «доброе утро» в действительно светлый и солнечный ранний час. Убеденность, с которой он произносит эти слова, — производное богатого личного опыта. Чаладзе прокладывал дороги в труднейших условиях Сванети. строил великолепную автомагистраль, соединяющую Тбилиси с аэропортом, и его должны благодарить шоферы за реконструкцию площади Героев (между прочим, ее асфальтовое покрытие укладывалось зимой и до сих пор не требует ремонта — хорошо бы, все дорожники были столь же добросовестны...). Естественно, начальник строительства возглавил процесс распространения метода бригадного подряда на все подразделения стройки. В масштабах наступления на устаревшие формы управления и заключается сущность того шага вперед, который сделали жинвальские гидростроители, опираясь на опыт тбилисских метрополитеновцев, «отталкиваясь» от него, чтобы подняться на качественно новую ступень. Коротко об их эксперименте (так он, по инерции, до сих пор здесь называется, хотя правомерность его доказана давно и убедительно) можно сказать так: в состав бригад, работающих на единый наряд, был включен и линейный инженерно-техни-

ческий персонал. Просто? Да. Но ведь сказано: если не все простое значительно, то истинно значительное всегда просто. В данном случае за простотой осуществленного шага стоял весьма далеко идущий замысел: **обеспечить максимальную мобилизацию инженерно-технической мысли на достижение высокого конечного результата.** Материальная заинтересованность — великая сила (и слава богу, что мы перестали ханжески словно вскользь упоминать ее в виде некой второстепенной добавки к роскошному блюду стимулов моральных), о чем, собственно, свидетельствует весь исторический опыт человечества. Освободившись от раз и навсегда установленных рамок зарплаты, специалисты высшего и среднего звеньев активно включились в поиск скрытых резервов интенсификации производства — механизации ручного труда, его более совершенной организации на всех уровнях. Со своей стороны, принцип распределения заработной платы по коэффициенту трудового участия исключил возможность какой-либо путаницы, а следовательно и несправедливости в этом важнейшем деле. ...Вспомните требование, изложенное в докладе Михаила Сергеевича Горбачева на апрельском Пленуме Центрального Комитета: «...Необходимо последовательно проводить линию на укрепление социальной справедливости в распределении материальных и духовных благ, усиление воздействия социальных факторов на развитие экономики и повышение ее эффективности».

Следующим шагом, совершенным в первом году одиннадцатой пятилетки, стал переход с бригадного на участковый подряд. Его смысл и значение состоят в том, что по методу хозяйственного расчета вслед за основными бригадами — проходчиков и бетонщиков — начали работать все остальные звенья. Теперь заинтересованность (можно смело сказать **кровная** заинтересованность) в высоком конечном результате распространилась и на обслуживающий персонал. (А от его четкой, бесперебойной, качественной работы в очень большой мере зависит общий успех.) Еще одно преимущество участкового подряда: материальная заинтересованность «обслуживающих» тем более выше, что данная категория работников тоже получает премию за экономию в расчетной стоимости работ; проще и конкретнее говоря — за сохранность материалов и конструкций во время транспортировки, за сбереженные киловатты энергии и килограммы горюче-смазочных материалов, за качество ремонта и, значит, долговечность машин и механизмов... Еще один результат внедрения участкового подря-

да, понятный даже непосвященным. Злейший враг стройки (увы, чуть ли не любой) — текучесть рабочих кадров. В 1977 году она составляла в Жинвали 35,7 процента и к восьмидесяти второму, после внедрения бригадного подряда, в целом по строительству сократилась до 2,8 процента; а на участках, перешедших на работу по единому наряду, эта цифра к тому же времени составила лишь 0,5 процента. И — завершающий тему хозрасчета «штрих»: экономический эксперимент жинвальцев привлек внимание ученых системы Госстроя СССР. Они побывали на стройке, тщательно разобрались в существе вопроса, признали опыт грузинских гидростроителей весьма ценным. Остальное покажет будущее, уже выходящее за рамки нашего рассказа.

Очевидная, но, пожалуй, все еще не оцененная в полной мере истина: историческая важность нашихстроек, помимо их экономического, социального, наконец, политического значения, заключается в благотворном воздействии на Человека как на олицетворение смысла, цели, начала начал всего сущего на Земле, в подчас революционной роли, которую играет в его судьбе приобщение к делам общегосударственного масштаба.

Цифры выразительны не столько своей многозначностью, сколько тем, что за ними стоит. В конце концов кубометры грунта или воды, даже если они исчисляются миллионами, остаются кубометрами щебня, земли, жидкости — неодушевленные и, значит, попросту мертвые... Если же говорится: на строительстве Жинвальского комплексного гидроузла трудятся 4500 человек — тут уже совсем другое. Ничуть не вдохновляет перспектива идти многократно пройденным путем штампованных деклараций типа «это четыре с половиной тысячи неповторимых индивидуальностей, разных судеб, сложнейших взаимоотношений» и т. д., — однако ведь в самом деле так!

Мы все острее ощущаем необозримость мира, в котором живем. Современный транспорт лишил тысячекилометровые расстояния их тиранической власти, телевидение позволяет ежедневно совершать кругосветные путешествия, космические полеты помогли осознать беспредельность Вселенной, дерзкое проникновение в тайны макро- и микрокосма придает этому процессу поистине головокружительную стремительность... Но повседневная жизнь человека по-прежнему локализована миром конкретных дел, выполняемых им в соответствии с выпавшей социальной ролью, и его личная судьба, естественно, складывается тоже здесь.

Между прочим, значение единого наряда, хозрасчета, о сущности и путях внедрения которых в Жинвали ^{3.02.62.04.00.12} ~~бегло~~ рассказано выше, не ограничивается рамками экономического эксперимента, приведшего к прогрессивной форме организации труда на стройке. Они легли в основу стиля жизни большого коллектива, а потому — и судеб его представителей.

Сейчас средний заработок строителей — 460 рублей в месяц. Комментарии здесь вряд ли требуются, и обстоятельство, что личные автомобили стали деталью быта многих, также, видимо, не нуждается в объяснении. Помните притчу об избалованном сыне, которого никак не могли заставить заработать хоть рубль? Отец швырял в огонь деньги, выдаваемые лентяю доброй неумной матерью, — и его, бездельника, безразличие к данному акту служило уликой. Когда же в пламя полетели деньги, воплотившие труд... Конечно, кровно заработанное — дорого. Хорошо, если можно зарабатывать много, потому что скупость — не всегда свойство ущербной души, стесненность в средствах тоже нередко ведет к ней... Не правда ли, здесь ясно проглядывают истоки важной социально-психологической идеи: возможность пользоваться достатком, добываемым честным трудом, возвышает личность, делает ее свободной.

Амиран Мотиашвили, житель Пасанаури, был торговым работником и стал проходчиком. Отнюдь не пытаюсь опровергать право его прежней профессии на уважение, со всей ответственностью утверждаю: сегодня он ценит собственную персону выше, чем прежде. Мотиашвили хорошо зарабатывает, но дело не в одном заработке. Он достиг гармонии между личными данными и характером труда, которым живет. Сильный, ловкий, здоровый мужчина, способный горами vorochat', — он и должен ими vorochat', а не магазинную выручку пересчитывать! Важный момент: Амиран Мотиашвили — бригадный агитатор, и ему есть что и как говорить товарищам, ибо крутой поворот в жизни им осмыслен и прочувствован.

Большое дело, собирая вокруг себя многих людей, естественно и доброжелательно формирует их будущее. Роин Капанадзе покинул родной Хашури, привлеченный на стройку ее размахом и юношеским желанием испытать свои силы. Он нашел в Жинвали хорошую профессию, возможность проявить талант руководителя, о котором не подозревал, и — счастье. Недавно строители отпраздновали свадьбу молодого коммуниста, бригадира комсомольско-молодежной бригады с завклубом Наной Гулбаташвили.

Семья Павла Михайловича Короля представляет собою в долине Арагви поколение пионеров. За неполные пятнадцать лет ее хроника оформилась в следующем виде: отец работает бульдозеристом; мать, Евдокия Никитична, — маляр; сын Михаил водит автопогрузчик; дочь Лариса за добросовестный труд получила право учиться на подготовительном отделении политехнического института; второго сына — Юрия в Жинвали знают все: экскаваторщик, слесарь, электрик, мастер на все руки, он избран членом партийного комитета строительства, одним из организаторов идеологической работы; став женой Юрия, нашла здесь вторую родину Валентина Король, лаборантка бетонного завода; ну, а об их пятилетнем Павлике пока можно сказать лишь, что он позволил нам назвать родителей представителями первого поколения Королей в Жинвали.

Илью Горделадзе и Дмитрия Гзиршвили объединяет родственность достояния, которое оба обрели на строительстве: начав работать соответственно прорабом и мастером, выросли до начальников участков.

— А у нас, — говорит начальник планово-экономического отдела Иракий Барнабишвили, — начальника участка можно приравнять к начальнику целого стройуправления средней величины. Таковы наши масштабы...

Получилось так, что уже при второй встрече я невольно окрестил его «пресс-атташе» стройки, — право, на то было достаточно оснований. Иракий (он здесь уже семь лет, и Жинвальский гидроузел для него первый объект подобного размаха) знает на строительстве если не всех, то почти всех, а о самом гидроузле — все уже без «почти». С одной стороны, так и должно быть по должности. С другой — в этой осведомленности явственно ощущается живая личная причастность к делу, которому служит молодой специалист. В противном случае не находилось бы времени для выполнения хлопотных и ответственных функций председателя первичной организации общества «Знание». Жаль, нельзя подробно рассказать о работе двадцати четырех энтузиастов, совмещающих далеко не простые служебные обязанности с бескорыстным трудом на ниве пропаганды политических и научных знаний. — ведь они делают очень важное дело. Начальник отдела кадров, полковник в отставке Иван Александрович Чохели ведет работу по военно-патриотическому воспитанию, начальник технического отдела Коба Кобаладзе читает лекции по истории гидротехнического строительства, секретарь парт-

кома — по международным проблемам... В целом же их усилия направлены на то, чтобы каждый, на каком бы участке ни трудился, ясно представлял смысл и значение своих усилий, свою жизненную линию.

Будем откровенны: мы не всегда по достоинству оцениваем значение весьма распространенной, проникающей буквально во все сферы нашей жизни формы духовной человеческой деятельности, именуемой массово-политической, идеологической работой. Что ж, тут виноваты лишь люди, чье равнодушие, непонимание или некомпетентность приводят к профанации сугубо ответственного и значительного дела, а вовсе не само оно. Идеологическая работа — в широком и правильном толковании — не бездумный перепев известных истин и не начетническая наукообразная болтовня. Это сложный процесс приобщения личности к высоким целям общества, ее подготовки — в человеческом и профессиональном плане — к эффективной социально полезной деятельности (разумеется, данное определение не претендует на всеохватность).

Борис Гогуа, главный инженер строительства и руководитель школы научного коммунизма, сказал так:

— Если занятия в системе политического образования ведутся правильно, если они организованы на принципе органической взаимосвязи теории с практикой, — идейность становится силой материальной, приносит вещественные плоды.

За окном жила трудной и напряженной жизнью большая стройка. Затрепанные эти слова наполнятся весомым содержанием, даже если просто, взглядом стороннего наблюдателя, окинуть обозримые пределы строительства. Люди, в кирпично-красных шахтерских шлемах направляющиеся к проходной, землеройные машины, с ревом сражающиеся против страшноватых в своей многовековой неподвижности скалистых глыб, отдаленное эхо взрывов, самосвалы, ползущие по дорогам-карнизам... Все это движется, ревет, ползет, взрывается, укладывается, роется — и в итоге строится — не само собой. Оно направляется строгим расчетом, волей, силой организации, мыслью человека. И задействовать мысль, направить ее в русло оптимальных решений, озарить огнем творчества — такова, в сущности, цель политического образования.

Надо ли говорить, что было бы наивным примитивизмом перекидывать этаким мостик между политучебой и решением конкретных производственных задач. Вот, мол, позанимался человек в системе партийного просвещения, осознал, вдохно-

вился — и внес рационализаторское предложение... Нет, конечно, чепуха это. Тем не менее упомянутый «мостик» существует.

В школе научного коммунизма, функционирующей в строительстве Жинвальского комплексного гидроузла, учатся инженерно-технические работники аппарата управления и начальники участков. Понятно, все — с высшим образованием, все — с достаточным багажом практического опыта. Руководитель есть теоретические знания плюс опыт. Выходит, получил человек диплом (заслуженно), поработал на производстве (хорошо, добросовестно), скажем, лет десять — есть желаемый синтез? Увы, не всегда. Более того, получается нередко парадоксальная картина: с годами качества руководителя... утрачиваются, тускнеют. Со «стариками» так происходит оттого, что в текучке каждодневных забот забываются подчас элементарные математические формулы (увы, не «образ», не преувеличение). С молодыми — по причине неумения работать с людьми, в основе которого лежит простая житейская неподготовленность. Гогуа приводит пример:

— Молодой руководитель с юношеским максимализмом наказывает подчиненного выговором. Я его спрашиваю: «Ты знаешь этого человека? Он до сих пор как работал — плохо?» — «Нет, неплохо...» — «Зачем же торопишься? Поставь себя на его место. Ты задумывался над тем, что такое оскорбленное самолюбие?...» Словом, иногда простить работнику проступок, тем более оплошность — не вредно, напротив... Ясно, это не призыв к всепрощенчеству. Просто надо учиться жизни. Руководителю — особенно!

Школа научного коммунизма учит жизни. Здесь обходятся без пресловутого наукоподобия, потому что постоянно помнят о насущных потребностях стройки. Вот что сделали для нее три Георгия — начальник участка Квиникадзе, механики Мадурашвили и Банцури. К сожалению, тут не расскажешь о деталях предложенного ими остроумного решения сложнейшей проблемы. А результат его воплощения в жизнь — налицо.

Помните о сверхвысоком горном давлении, с которым столкнулись строители при проходке отводящего тоннеля? 300 тонн на квадратный метр обернулись для них, кроме всего остального, катастрофически возросшим объемом необходимых восстановительных работ. Созданная рационализаторами так называемая облегченная передвижная металлическая опалубка позволила в экстремальных условиях тектонического раз-

лома работать одновременно на нескольких фронтах и, благодаря сокращению нормативного времени, а также расходов на обслуживающие процессы, сэкономить только на 350 метрах проходки 15 тысяч рублей. Возросшее качество работ, сэкономленные трудовые ресурсы, улучшение условий труда в названную сумму не входят, все это цифрами не выразишь... Связь между подобными взлетами творческой мысли и политическим просвещением, экономической учебой, подлинной, в истинном смысле идейностью существует самая что ни на есть реальная, хотя далеко не всегда открытая нетерпеливому глазу.

Председатель объединенного построикома профсоюза Деин Кариаули, явно совершенно не собираясь этого делать, с мудрой простотой предельно лаконично определил суть и цель идеологической работы:

— Лучшая агитация — забота о человеке.

Отличная, необычайно емкая формула, одновременно вмещающая в себя и характеристику образа жизни коллектива — диалектическое единство общественных и личных интересов, лежащее в основе его многогранного бытия. Именно так: успех стройки зависит от людей, а чтобы люди — каждый из четырех с половиной тысяч — работали с полной отдачей, она обязана проявлять ответную щедрость.

Собственно, здесь все начиналось с заботы о строителях. Сегодня почти не осталось следов барачного поселка, в котором жили первые. — выросли и продолжают расти современные многоэтажные дома. Жинвали — перспективный городок. Жизнь в нем будет продолжаться и после ввода в строй гидротехнического узла. Останутся эксплуатационники с семьями, вырастет туристический комплекс (водохранилище втрое больше Базалетского озера), пройдет неподалеку Транскавказская железнодорожная магистраль... Да и вообще — из центра Тбилиси до Жинвали всего пятьдесят с немногим километров, менее часа езды со скоростью, не вызывающей нареканий ГАИ. Словом, получить прописку в поселке гидростроителей — задача не из простых, и профсоюзным работникам, как и всегда в таких случаях, распределение жилплощади стоит нервов. В подобном деле единственное верное средство от возможных нареканий и кривотолков — гласность. Каждое заинтересованное лицо всегда может узнать кому, когда, какую и за что выделяют квартиру. Защищенность общественной организации от подозрений в несправедливости, даже самой малой, — первейшее условие ее авторитета. Но не только.

Кариаули даже не пытался рассказывать мне о «чисто» профсоюзной работе, как ее понимают, простите на резком слове, разного толка чиновники. Он не совал в руки протоколов, диаграмм, справок и т. п. Озабоченно рассказывал о случившемся на днях сбое в снабжении поселка водой (да, да, водой, но «сапожник без сапог» здесь ни при чем, причина была в неточности действий некоторых товарищей), об оползне на участке, выделенном строителям-садоводам, о требовании женщины организовать курсы кройки и шитья (закройщик из Душети уже вызван), о столь модной ныне аэробике (тоже приехал специалист, из Тбилиси), об озеленении улиц и дворов. Он мало говорил о еще более важном, считая, видимо, что тут и говорить не о чем, как же иначе?.. Хотя службы безопасности, охраны труда находятся здесь на самом высоком уровне и об этом заботятся соответствующие инстанции, председатель стройкома, профсоюзные активисты считают долгом постоянно бывать на рабочих местах — особенно на сложных, лимитированных, как говорят здесь, участках.

Стройка — живое дело, такова ее природа, сущность как формы производственной деятельности человека; она всегда устремлена в будущее и потому властно притягивает к себе молодежь.

• Вот уж где можно, ни на йоту не фальшивя, без малейшей натяжки говорить о «школе труда и жизни», о том, что «участие в большом деле формирует человека». Юность всегда больше получает, чем отдает. Не будем говорить о профессиональной подготовке, интернационалистском становлении личности (на стройке работают представители тринадцати национальностей, и школа в поселке смешанная, русско-грузинская), о возможности получить высшее образование, поступив в вуз по комсомольской путевке, — все это явления обычные, можно сказать, типичные... Но вот одно из конкретных дел — форма шефства комсомольцев-строителей над местной средней школой. При комитете комсомола не первый год действует «педагогический отряд», объединяющий 18 молодых инженеров, новаторов, ударников. Его цель — жизненная ориентация старшеклассников, которая в условиях Жинвали естественно выливается в пропаганду строительных профессий. В минувшем году прямым итогом деятельности «педагогического отряда» стало приобщение к семье гидростроителей двадцати шести молодых рабочих — больше половины выпускников. Они на первых порах тоже будут больше получать от стройки, чем отдавать ей, — и это закономерно... Честный, добрый, сол-

нечной души человек, писатель, обладавший удивительным искусством с улыбкой говорить очень серьезные, даже грустные вещи, Нодар Думбадзе как-то в разговоре заметил:

— Все мы, люди, чем больше живем, тем больше делаем долгов. Мы берем от матери с отцом, от родины, учителей, друзей... А потом всю жизнь платим по векселям. И если удастся отдать хоть немногим больше, чем было взято, — это, наверное, и есть счастье.

Позволяя человеку найти наиболее соответствующую характеру его способностей точку приложения сил и, таким образом, в полном объеме задействовать творческий потенциал, стройки, подобные жинвальской, предоставляют ему реальную возможность с избытком возместить некогда взятое взаймы... Однако на том их нравственно-психологическая, социально-экономическая значимость не замыкается. Любой народнохозяйственный объект, причем еще в стадии рождения, неизбежно оказывает активное воздействие на жизнь региона, в пределах которого сооружается. Чем он масштабнее, тем сильнее и многостороннее это преобразующее влияние.

Для Душети Жинвальский гидроузел станет (и, в оговоренном смысле, уже является) тем же, чем, например, в свое время для Цалкского района стала Храмская ГЭС, а для Болнисского — Маднеульский горно-обогатительный комбинат. Это вовсе не означает, что прежде бытие местных жителей было патриархально замедленным, бесцветным, лишенным упругой целеустремленности. Душети, между прочим, известен с 1215 года, а городом именуется уже без малого двести лет. Но одно дело сельское хозяйство, ковроткацкое производство, керамика, различные промыслы и совсем другое — сложнейшее комплексное гидротехническое сооружение, которое через считанные месяцы заживет напряженной жизнью в нескольких километрах от районного центра... Здесь благодатная почва для обобщающих рассуждений о революционной роли рабочего класса, приобщающего село к далеко ведущим последствиям научно-технического прогресса. Удовольствуемся внимательным коротким рассмотрением локальной темы: душетцы и жинвальское строительство. Но не могу отказать себе в удовольствии сначала представить читателю человека, которого знаю давно и глубоко уважаю. Цицино Ивановна Бекаври (друзья называют ее Кетино, и это уточнение пущю потому, что друзей очень много) — секретарь Душетского райкома партии. Я познакомился с ней в пору ее комсомольской юности, и уже тогда привлекал внимание благородный синтез

милой сдержанной женственности с волевой твердостью при-
рожденного руководителя. (Помню, как при виде комсомоль-
ского вожака района завсегдатаи душетского «бродвея» по-
спешно прятали в рукав недокуренные папиросы, а на горных
пастбищах Барисахо без удивления встречали ее сидящей в
седле). Кетино Бекаури посвятила себя той невероятно труд-
ной, необходимой людям, подчас неблагоприятной сфере деятель-
ности, которая сухо-официально зовется организационной и
политической работой. Ее жизнь — жизнь родного края, и
слова потому весомы:

— Стройка дала нам многое. Сооружены новые мосты и
внутренние дороги — например, в селах Чартали, Гудамакари,
Квешети, Хада. Из Жинвали, Ананури, Чинта, Недзихи, по-
павших в зону затопления, люди переселились в новые дома
городского типа и, значит, будут пользоваться всеми комму-
нальными благами. К концу года должно завершиться строи-
тельство десятикилометрового водопровода и резервуара, что в
основном решит проблему водоснабжения райцентра. Есть и
другие преимущества вещественного, материального плана от
того факта, что именно на территории нашего района было за-
планировано сооружение гидроузла. И все-таки, на мой взгляд,
ими его значение не исчерпывается. За прошедшие годы на
стройке поработали около трех тысяч душетцев. Подавляющее
большинство приобрело здесь профессии — плотников, бу-
рильщиков, землекопов, крепильщиков, слесарей, механиков...
А это ведь ценность непреходящая — квалифицированные ра-
бочие ресурсы, она многие годы будет эффективно служить
району. И, конечно же, общие положительные изменения в
нашей жизни — ее возросший ритм, духовное обогащение, на-
полненность новым содержанием вследствие причастности к
делу общегосударственного значения... Отрадно также, что
теперь уже не осталось сомнений: стройка не привела к гру-
бому вмешательству в дела природы, не сказалась отрица-
тельно, как это, к сожалению, нередко бывает, на экологиче-
ском равновесии. А такие опасения возникали...

Разного рода опасения можно услышать и сейчас. Факт
вполне объяснимый. Дело тут не в консервативности или
склонности иных идти в умозаключениях известным путем
«как бы чего не вышло». Наверное, причина в совершенно
нормальной реакции нашего сознания на впечатляющую гран-
диозность современных сооружений — в особенности, пожа-
луй, именно гидротехнических, где один вид усмиренной — и
потому яростно негодующей — водной стихии наводит на

мысль: что же будет, если прорвет?... Помните, сколько подобных тревожных вопросов возникало по поводу Ингуригэ?

Плотина Жинвальского гидроузла — насыпная. Такие строятся во всем мире, и они предельно надежны. Вернее — беспредельно. Система контроля за «самочувствием» жинвальской плотины слишком сложна, чтобы можно было подробно о ней рассказать, но один-единственный штрих привести стоит, он весьма убедителен. Предусмотрен так называемый холостой водосброс. Практически он обречен на безделье, ибо может понадобиться лишь в случае паводка такой силы, которую Арагви способна обрести раз в тысячелетие.

Строители не только не нарушили извечного природного равновесия, установившегося в долине древней горной реки. Они помогли природе региона. Вода, как известно, — источник жизни, тут говорить больше особенно не приходится. Гидроэлектростанция (тоже достаточно распространенная истина) совершенно не загрязняет окружающей среды. Касательно же обычно неизбежных при строительстве большинства промышленных объектов издержек, возникающих по той простой причине, что под сооружение требуется земельная площадь, нужен инертный строительный материал, — то в данном случае обошлось и без них. Зона затопления была непригодна для земледелия; инертный материал добывался непосредственно в пойме Арагви; даже поселок строителей вырос на бесплодной каменистой почве — зато теперь, усилиями жинвальских гидростроителей, он быстро озеленяется, и процесс этот приобретает все больший размах.

В сентябре нынешнего года предусмотрена сбойка отводящего тоннеля. Осталось очень немного времени до того дня, когда по трассе длиной 51 километр в столицу республики мощным (однако строго контролируемым!) потоком хлынет животворная влага. Что она даст — читателю уже известно. Добавим лишь: Жинвальский комблексный гидроузел обеспечивает тбилисцам возможность получать воду вне всяких графиков.

А в полусотне километров от города в ясные дни будет сверкать под солнцем и отражать в тихие ночи свет далеких звезд рукотворное море, завертятся в стремительном беге упрямые глубоко в недра турбины, рождая до сих пор таинственную мощь электрического тока... И все вместе станет прекрасным памятником мысли и труду человека, который делается сильным и мудрым, когда живет и действует в согласии с Природой.

ТРУДНО членить и анализировать рассказы Нодара Думбадзе, их течение так же естественно, как естественно течение отраженной в них бесконечной реки по имени Жизнь. Мастерство, зрелое как раз в силу своей «незаметности», изящество и благородство слога — да, все это видно, все на поверхности, но всегда после чтения его рассказов остается ощущение загадки, чего-то незавершенного и непознанного.

«Неблагодарный» — вещь хрестоматийная.

Сколько раз читаны-перечитаны эти строки, а все равно велика их дразнящая свежесть и неубывающая магия: «Столетие Гудули Береклиани прошло как-то незаметно. И не мудрено: на сельском кладбище похоронено столько его однофамильцев, достигших полутравекового возраста, что соседи могли и не вспомнить про Гудули. Да что там соседи — свой день рождения прозевал и сам Гудули».

Пафос жизни, самого человеческого бытия, оттененный доброй, неугасающей улыбкой.

Резкое столкновение полярных жизненных начал — Гудули до последнего своего часа жил естественно и

Александр
РУДЕНКО-ДЕСНЯК

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

ЗАМЕТКИ КРИТИКА

прекрасно, сын его Димитрий даже в момент похорон отца думает единственно о соблюдении приличий.

Трагизм последнего поступка Гудули, решившего пойти с собой из-за старческой немощи, и высокий смысл этого решения открывают безграничность гордого человеческого самоуважения...

Перечитывая Н. Думбадзе, думаешь о том, что всякое творчество и рождается действительностью, и становится ее неотделимой движущей частью.

И точно так же созданное мастером кажется чем-то само собой разумеющимся, существовавшим чуть ли не всегда.

А между тем первая крупная вещь Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» печаталась в журнале «Цискари» в 1959 году «самым мелким шрифтом» (выражение писателя) под рубрикой «Юмор». Грузинских «шестидесятников» называют еще поколением «Цискари», они действительно росли вместе с этим молодежным изданием, но даже в его стенах не смогли оценить подлинный масштаб искрящегося повествования о неунывающем прохвосте Зурикеле и его стариках. Судя по всему, феноменальность своего творения не осознавал в то время до конца и сам автор... О внегрузинской реакции на роман (будем придерживаться данного Н. Думбадзе жанрового определения) говорить довольно трудно — ее скорее всего просто не было. Были восторженные рецензии на фильм, поставленный по роману Тенгизом Абуладзе (этап в новейшем грузинском кино), не чувствовалось недостатка в откликах на инсценировки романа (особенно ярким был спектакль Ленинградского БДТ), о нем самом писали потом — уже как о произведении легендарной известности, хотя как эта известность сложилась и какую тут роль сыграла критико-литературная мысль, осталось своего рода тайной. Видимо, одной из неизбежных творческих тайн.

Упрекать некого и не в чем — есть реальная история литературы и отдельных ее явлений.

Вот, скажем, принято считать, что рассказы предшествуют крупным произведениям, служат своеобразной писательской разведкой жизненного материала. Н. Думбадзе выступил со своими рассказами в 70-е годы, после нескольких романов (в том числе самого спорного из них — «Белые флаги»), сделавших его имя широко известным.

Вещей неталантливых при всех частных неудачах у него не было, но, пожалуй, в рассказах наиболее полно и законче-



но выразились особенности этого редкого в своей органичности таланта.

Рассказы написаны «шестидесятником», а это значит, что в них открыто и прямо утверждается любовь к человеку, причем обычному и простому, доказывається беспредельность нравственных и духовных достоинств этого самого обычного и простого человека. Утверждать подобное сегодня, да еще перед всезнающим читателем — значит ломиться в открытую дверь. Рискую все же напомнить, что дверь сначала нужно было открыть...

Нодар Думбадзе не раз подчеркивал: его поколение вовсе не претендует на привнесение в грузинскую литературу каких-то новых гуманистических ценностей. Существовала ведь классика! Была и классика советского периода, в частности, Н. Лордкипанидзе, М. Джавахишвили; творчество этих и других замечательных писателей учило познанию психологии реального человека в конкретных социальных обстоятельствах, оно многое дало хотя бы с точки зрения современной литературной техники, анализа человеческих душевных состояний. «Не с неба же мы свалились», — улыбался Нодар Владимирович, как всегда, смягчая улыбкой серьезность сказанного.

Конечно, не с неба «свалились», конечно, на вполне конкретной почве стояли группировавшиеся вокруг «Цискари» молодые литераторы. Они чутко выразили общественную потребность, которая состояла, помимо всего прочего, в том, чтобы воздать должное самому обычному современнику, увидеть, как движется его жизнь, что составляет круг его забот, рассмотреть в простом человеке личность, единственную и неповторимую, а не частицу бесконечной массы.

Не существование скромного индивида, а вечное чудо жизни... Прямой и открытый пафос.

Литература всегда ведет со своим читателем разговор о гуманистических ценностях. Каждое писательское поколение делает свои акценты в этом разговоре.

Это поколение не стеснялось проповеднического тона, и если утверждаемые им истины кажутся подчас очевидными, подумаем над тем, какие усилия требуются для доказательства подобных очевидностей. Рассказы иных грузинских писателей стали документами хоть и недавнего, но прошлого; была, значит, необходимость в той страстности, с которой они провозглашали тогда свое кредо. К примеру, Эдишер Кипиани доказывал, что форма и существо человека могут разительно не совпадать, а мы, уделив слишком большое внимание чисто

внешним жизненным атрибутам, проходим мимо главного и драгоценного, как тот киношник, который снял руки, замеча- тельной ткачихи и проигнорировал ее «некиногеничное» лицо («Руки»). Доказывал он и то, что для каждого из нас важнее всего не казаться, а быть, быть самим собой всегда и во всем; отступление от этого правила губительно для личности («Гобой»). Такого рода «моралите» выглядят весьма простодушно и придают неповторимое обаяние старым теперь рассказам. Дело, наверное, в том, что авторы их, впадая в проповедничество, не торопились учить своих читателей, не воспаряли над ними, а вместе с ними открывали непреходящую ценность многих кажущихся элементарными жизненных истин.

Гурам Рчеулишвили погиб совсем молодым и сделал далеко не все, что было ему предназначено. Он остался писателем, чье творчество в какой-то степени определило и круг этических проблем, волновавших его вместе со сверстниками, и форму их обращения к читателю. Вчитайтесь в «Алавердоба»: пульсирующий, нервный слог, в котором нет и следа тяжеловесной «восточной» цветистости, пылкое неприятие любой формы ради формы, любой фальши — прекрасный своей давней традиционностью праздник рассмотрен до экзальтированности остро, и увидено в нем многое, что ускользнуло бы от более спокойного и умиротворенного взгляда. Что это, как не призыв к читателю думать, пробуждаться, мучиться вместе?

Рассказ Г. Рчеулишвили «Батарека Чинчараули» — еще один раритет «шестидесятников» — это они на многие лады доказывали, как хрупка и драматически конечна человеческая жизнь, какой постоянной чуткости и бережности она требует.

Это они не хотели мириться с малейшими отступлениями от собственных представлений о нравственности и добре. Какой мрачной и несправедливой силой предстает отец погибшей Мзин Батарека Чинчараули! А как тяжело карается моральное предательство в рассказе Арчила Сулакаури «Нежная ветка ореха!» Ситуация из житейски-заурядных (когда-то двое расстались, потому что юноша не захотел лишней ответственности), но какие зловещие тона приобретает встреча героев. Адовы муки испытывает герой рассказа, видя, сколь неотъемлемой принадлежностью тупого и сытого быта в мужнином доме стала та, которую он любил. Бескомпромиссный, суровый и справедливый суд, в первую очередь, над самим собой. Жестокая мысль о том, что моральное отступление мстит не только тому, кто отступает, но и другим людям.

И — предельная напряженность внутреннего монолога, стремительное движение от малозначительных бытовых пустяков к глубокой жизненной драме. А. Сулакаури — лирик, тяготеющий к изысканному письму, но и интерес его к насущным социальным проблемам неизбытен. Тоже характерно для того поколения...

И отношение литературного героя к миру, и сам этот мир — в процессе становления. Это ломкая и подвижная действительность, в ней много кризисных моментов, способных сильно и неожиданно обнажить существо человека. Не случайно, по-видимому, в произведениях «шестидесятников» так часто появлялись подростки, пристально всматривающиеся во «взрослую» жизнь. В какой-то мере сказывалась живая память молодых писателей о недавнем своем детстве и отрочестве. И все же, скорее, герой-подросток с импульсивными движениями его души был нужен, чтобы раскрыть вместе с ним — и раскрыть с неожиданной стороны — механизм человеческих взаимосвязей. Рассказ Тамаза Чиладзе «Пятница» — пример довольно типичный. Мальчик Миха — это Пятница, безуспешно ищущий своего доброго Робинзона, и все в окружающей его жизни после ухода матери из дома находится словно бы не на своем месте, даже кличка Робинзон присвоена откровенным жуликом. И если нет очевидного, обращенного против Михи зла, то и направленного на него добра тоже нет, и нет успокоения и покоя его сорвавшейся с зыбких опор душе. Психологизм не легко давался молодой грузинской литературе, но и обретения ее в анализе сокровенно-человеческого — налицо... Слишком сильна в такой прозе проповедь любви и добра, чтобы она опустилась до пошлых мелочей быта, ушла в них — только необходимые знаки быта, «привязки» к обычной реальности, главная же реальность — несущийся поток острых и больших реакций подростка на первые пришедшие к нему испытания, на поведение и характеры связанных с ним людей.

Слова «добро» и «духовность» мало что значат вне конкретного контекста, в котором они названы. Да и поистерлись они изрядно за предыдущие двадцать с лишним лет от частого и не всегда оправданного употребления. Но теперь, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что грузинскими «шестидесятниками» высокие понятия не употреблялись всуе, что эти понятия насыщались реальным, предметным смыслом, что витал над ними дух волнующего — и общего, и в каждом случае своего — первооткрытия.

Рассказы, написанные писателями-сверстниками в разное время, обладают некоей внутренней близостью. Не внешним сходством — близостью самого мироощущения. Сколь бы ни было подвижно человеческое, в том числе и писательское сознание, на всей жизни человека останется четкий отпечаток того времени, когда складывались и формировались идеалы, этические принципы и творческие пристрастия, определялся символ веры. Время первых проб пера поколения «Цискари» никак не располагало к спокойно-рутинному вхождению в литературу. Дебютанты без конца спорили — о смысле жизни и смысле своих литературных занятий, жадно тянулись к жизненной нови, нещадно раскрывали промахи сотоварищей и бурно радовались успехам, в общем, как сказал впоследствии А. Сулакаури, растили друг друга. Такое не забывается. В их опытах было много несовершенного, но жило высокое уважение к литературе, слову, призванию, билось яростное равнодушие к героям создаваемых и будущих произведений.

А индивидуальности... Вот рассказ Резо Чейшвили «Голубые горы». С холодноватым, чуть ли не зловещим блеском обрисована псевдодеятельность учреждения, где ни одна душа не занимается своим прямым делом. «Секретарша изучала номера телефонов под стеклом. Она странно улыбалась, и вид у нее был такой довольный, что невольно озадачивал человека, не знавшего ее». «Четыре человека говорили что-то Отару, Отар молчал, застыв на месте, словно тоска теснила ему грудь». «В комнате за пятой дверью один-одинешенек стоял у окна, заложив руки в карманы, Васо Чорголашвили. Вид из окна открывался безрадостный». Не только героя рассказа, который никак не может узнать судьбу своего сочинения, но и нас берет оторопь при взгляде на эту учрежденческую фантазмагорию. Актуально звучит рассказ, крайне созвучен он нашим нынешним размышлениям о необходимости решительно искоренять любую имитацию общественно-полезной деятельности, и не удивительно, что по сценарию Р. Чейшвили Эльдар Шенгелая поставил острую и пластичную кинокомедию «Голубые горы». Но прочтите другие рассказы писателя, вслушайтесь в их многослойные интонации, всмотритесь в эту остраненную действительность — тот же пафос неприятия всякой формы, мешающей свободному и естественному человеческому самораскрытию, то же упорное утверждение подлинного в человеке.

Для писателей этой генерации мир — при всей его лучезарности — никогда не был одноцветным и бесконфликтным.

Неустойчивое, шаткое равновесие, за которым — жесткое противостояние добра и зла, не так ли выглядит сюжетная ситуация в рассказе «Красавица» Реваза Инанишвили, одного из самых ярких «шестидесятников»? Герои такой прозы стоят за свое до конца, и их не способны смутить ни наглость и сила противника (в «Красавице» объездчику противостоят залетные браконьеры), ни тяжелое наказание за собственную строптивость («Завещание» того же автора), и хотя далеко не всегда они выглядят праведниками и большими мудрецами, и честность их перед самими собой может быть честностью до абсурда, по именно — честностью, являющейся в облике простодушном и нелукавом. Все в этих сочных житейских эпизодах противостоит унылым этюдам на заданную нравственную тему. Лихой объездчик, выполняя свой долг, очевидно, боится уронить себя в глазах красивой женщины, и в горячем поведении его слишком много от той непредсказуемости, что и делает людей людьми своего возраста и своей среды. Конфликт — да, но еще и кипение крови, и борьба самолюбий; жаркое облако, клубящийся пряный туман, встреча у реки — это опять бесконечная, мгновенно меняющаяся жизнь... А уж каким жаром пышет рассказ Р. Инанишвили «Ртвели!» Сказать, что он — об уборке винограда, значит не сказать абсолютно ничего. Земля излучает осеннюю негу, а то, что чувствуют люди, не назовешь иначе как восторгом перед всем сущим. И только глухой не услышит, как пульсирует в человеческих жилах кровь, как распирают лозу жизненные соки.

А «Тур-вожак» Отии Иоселиани! Прекрасные и гордые творения природы под вечным небом на вечной земле... Жизнь — только в полную силу, с поднятой головой: тура ведет инстинкт — не самосохранения, а сохранения в себе лучшего во имя будущих поколений. «Анималистский» сюжет оборачивается, вполне ожидаемо, сюжетом мировоззренческим.

В такой прозе не могли не появиться герои хорошие и странные, чья странность, конечно же, большей частью равна человеческой незаурядности, богатству и даже изяществу душевных движений. Провинциальная дурочка с накрашенным лицом из рассказа Джемала Карчхадзе «Высокий мужчина» — персонаж довольно типичный. Реакция на ее появление в переполненном автобусе дает возможность увидеть, кто есть кто, и ощущается отчетливый привкус уроков народной этики в том, что подавляющее большинство относится к душевнобольной с доброй жалостью и своеобразным пиететом. Уроков — безусловно близких автору, литературных в лучшем смысле сло-

ва. Не пройдем и мимо того, что выведение на сцену таких масок, как героиня этого рассказа, открывает традиционные возможности в показе вечного жизненного карнавала. Впрочем, люди странные или со странностями возникают в прозе «шестидесятников» и писателей чуть более молодых не только в своем абсолютно классическом амплуа. Герой рассказа Тамаза Годердзишвили «Бакаша» просто-напросто стесняется надевать свои боевые награды, его беспредельная скромность и столь же беспредельная доброта принадлежат природе незаурядной и подлинно героической. Надо только уметь видеть подобную незаурядность — разве мы не разделим авторского пафоса? И разве не найдет отклика в читательской душе участковый милиционер Бидзина из рассказа Мераба Элиозишвили «Коровий вор»? Странно выглядит этот представитель власти, пристающий к разного рода занятым людям с незначительной и такой маломасштабной просьбой — устроить на работу бывшего заключенного, не дать ему возвратиться к прежнему ремеслу. Участковый не просто исполняет свой долг, он бьется за своего подопечного, который, кстати, не ощущает никакой нужды в подобной опеке. Цельный характер, постоянно вызывающий интерес у писателей, о которых идет речь. И — самое важное: без героя, постоянно стремящегося, чтобы долг служебный, социальный был долгом души и сердца, это была бы совсем другая проза.

В этих коротких заметках просто невозможно окинуть взглядом даже главные параметры большого и сложного явления современной грузинской литературы.

Не хочется злоупотреблять формулами, но, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в прозе «шестидесятников» непосредственность, цельность, чувственность мировосприятия героев довольно часто преобладают над их способностью к многомерному анализу жизненных явлений. Рассказ Нодара Цулейскири «Сисатура» — притча о силе материнской любви, способной воскресить мертвого младенца. Но только ли о ней? Это подчеркнуто экспрессивное повествование, уводя нас в мир горского фольклора, народных представлений о вещах, призвано возвысить огромную, несокрушимую и плодотворную силу человеческого чувства как такового, чувства, которое побуждает любые соображения здравого смысла и даже реальные обстоятельства.

Век разума — вот и опосредованная реакция на него.

Эти заметки — меньше всего очерк о развитии современ-

ной грузинской литературы. Я излагаю чисто субъективные впечатления от прочитанного.

Некоторые черты, некоторые штрихи сложного процесса

И — никаких «хуже-лучше», «лучше-хуже».

А вот о подходе к изображаемому в литературе предмету говорить стоит.

Георгий Баканидзе. «Хлеб». Кусок хлеба, сам вид его возвращает душевные силы человеку в момент полного отчаяния. Авторский гуманизм разделяешь, разделяешь и тревогу, которая пронизывает весь рассказ, висит над девушкой, пытающейся отделаться от преследователей на ночной улице. Парни, словно бы нехотя cedящие одну грязную реплику за другой, рассмотрены вполне безыллюзорным взглядом. Какие уж тут восторги перед всем сущим! Но и сразу же различной ярости неприятия нет в этом трезвом взгляде на персонажей рассказа.

Гурам Петриашвили. «Грустный клоун». «Лекарь». Условный город, где общаются, живут и действуют человеческие маски. Мир сказки, где, как это было всегда и пребудет вечно, добро борется со злом, совершается в нужный момент замечательное волшебство и люди обретают счастье. Или не обретают его из-за собственного равнодушия и душевной лени. Яркие и контрастные краски этого сказочного мира. В том, как он увиден и подан, легко заметить и тягу к иносказанию, что так освежает наши будничные представления о проблемах нравственности, и немалую филологическую, литературную осведомленность автора.

Изысканная манера письма в подобном случае — своего рода неперемное условие игры.

Литературная осведомленность просто-таки необходима, если считать профессиональной нормой уважение к слову, отдельно звучащему и написанному слову, — норма эта не так уж редко подвергается небрежению в наш динамичный, переполненный всяческой информацией век.

А спокойная трезвость — когда же она мешала в отношении к человеку, оценке его реального облика? И т. д. и т. п.

Дело же все в том, что мы уже находимся в сфере литературы семидесятых годов.

Десятилетие — и очень мало, и довольно много — смотря в какое время.

Это в семидесятые годы Нодару Думбадзе так досталось в критике за излишнее человеколюбие и непомерную доброту

в отношении к миру. Когда критическая мысль успела притомиться от переизбытка доброты в литературе и жизни, тоже осталось тайной, однако факт есть факт: ведущему грузинскому «шестидесятнику» был предъявлен счет, исходя из актуальных нравственных запросов. На литературную повестку дня выдвигались требовательность к человеку, аналитичность, трезвость. Можно было бы привести и другие писательские имена, кроме тех, что названы несколькими абзацами выше: мой выбор достаточно произволен, — необходимо увидеть приметы нового (хотя бы по времени) литературного явления.

Было бы просто недобросовестно искать какое-то несогласие литературных поколений меж собой. Да и возможна ли новая генерация через десять лет после предыдущей? В 70-е именно годы? Представители поколения «Цискари» много писали и прекрасно печатались, росла их популярность, как раз в 70-е резко сменил свое амплуа Отар Чиладзе, из поэта став (сразу же!) признанным романистом. Те же, кто вступил в литературу буквально вслед за «шестидесятниками», вступили, пожалуй, не так заметно и броско, как их ближайшие предшественники. Но разве исчезла обязанность неопитов литературы искать все новые оттенки диалога с читателем о нравственных ценностях?

70-е годы выдвинули такую интересную и симптоматичную фигуру, как Гурам Дочанашвили.

В его стиле (это заметно даже в переводах) есть легкость, блеск и юмор, всегда импонирующие читателю. И как представить грузинскую прозу, грузинское кино, скажем так — грузинский способ мышления без юмора? Довольно-таки забавно при собственной серьезности и большом самоуважении выглядит начальник «компетентного учреждения», занимающегося распространением социологических анкет (рассказ Г. Дочанашвили «Человек, который очень любил литературу»). «На руководителе свитер, прекрасно связанный, облегающий крепкое мускулистое тело, — женщины с ума по нему сходят, некоторые во всяком случае. Настоящий атлет! Ученый — и такая могучая стать! И речь у него весомая, убедительная, насыщенная терминами, сложная, отточенная, каких он только выражений не знает, просто ходячий словарь иностранных слов». Пожалуйста, образец руководительской речи, весомой, убедительной и насыщенной: «Важнейшая, существеннейшая функция данной анкеты не сможет быть реализована на основе постановки традиционных вопросов, предполагающих учет условий быта и вообще жизни... Следовательно, их следу-

ет заменить показателями комплексной урбанизации окружающего...» Поскольку повествование ведется от имени сотрудника компетентного учреждения, и он вникает начальственным речам и взирает на руководительский облик с почтительным восхищением, нетрудно составить о нем ясное представление. Самохарактеристика его упоительна: «Между прочим, у меня одно поразительное свойство — стоит разволноваться по сильнее, и находит сонливость... и примечательно, что сонливость нападает только в предвкушении неприятности, но во время приятного волнения, в предвкушении похвалы... сонливости не бывает». Ладно, так выглядят малопривлекательные персонажи рассказа, люди, мыслящие весьма шаблонно, откровенно теряющиеся при столкновении с неординарной точкой зрения на вещи, необычным человеческим характером, попросту ограниченные. (Дорого стоит реплика руководителя: «Разве не приятно почитать иногда в тенечке, скажем, Диккенса?» Это после напыщенных слов о значении художественной литературы.) Но и главный его оппонент, тот самый фотограф Васико Кежерадзе, так любивший литературу, что готов был искать в ней панацею от всех нравственных уродств и отклонений, — можно ли здравомыслящему уму принять его абсолютно серьезно? И его идею — нарушителей общественного спокойствия запирает в специальные помещения, где оставлять наедине с книгой вплоть до полного душевного выздоровления? Васико откровенно издевается над волевым, энергичным, самонадеянно-невежественным руководителем и его сотрудником — что-то мало похож наш фотограф на проповедника добра и истины... Ирония, отчетливая холодноватая ирония пронизывает рассказ.

Легко обнаруживается она и в рассказе «Иоганн Себастьян Бах». Вряд ли способен вызвать горячую симпатию подполковник — сапер Селиванидзе, без особых церемоний вошедший вслед за незнакомой девушкой в квартиру, где Эленэ (так зовут девушку) живет вместе со своей престарелой тетей Нуцей. От человека, для которого «чай, так называемый «эликсир жизни», был средством повышения тонуса, содержащим в умеренном количестве кофеин (2—4 процента), дубильные вещества, эфирные масла и витамин «С» — от такого человека трудно ждать тонких речей и мыслей. Герой рассказа во всем равен самому себе: и в том, как без затей делает Эленэ предложение, и в том, как рассуждает о музыке («что может быть приятнее романса в прекрасном обществе, в теплой, уютной обстановке...»), и в том, как переживает свой конфуз — от-

казано ему по всем статьям («...выпил газировки с сиропом»). А Эленэ — с ее высокомерием и пренебрежением к безобидному при ближайшем рассмотрении и незлому малому? А те-тушка Нуца, почувствовавшая угрозу своему налаженному бы-ту и обрушившаяся на несчастного сапера со всей мощью своего цюрихского музыкального образования? Вроде бы и жалеть здесь некого, но вдруг, прощаясь с подполковником, пьющим газировку, чувствуешь, как обжигает тебя вопрос: а велика ли цена образованности и душевному изяществу, если они — только тонкая пленка на эгоистическом человеческом естестве? Прямолинейный сапер жаждет счастья, как он его понимает, — для себя и Эленэ, он мог стать для девушки избавлением от одиночества, он нес добро и столкнулся с откровенным злом, и драма несостоявшейся судьбы или несостоявшихся судеб не становится меньше оттого, что она растворена в спокойном, высвеченном иронией словесном течении.

В такой прозе авторские внутренние установки противостоят открытому пафосу. Иронию здесь вряд ли можно свести к одной лишь яркой примете стиля.

Гурам Дочанашвили берет понятие, кажущееся ясным и незыблемым, и начинает внимательно присматриваться к нему. Было бы несправедливо сказать, что он пытается приуменьшить, снять с пьедестала Добро, Человеколюбие, Любовь к своей земле и т. д., но реальное наполнение этих высоких слов его явно интересует. В рассказах писателя много условных ситуаций и мест действия, много гротеска и словесной игры; взяв за правило не прокламировать прямо свою точку зрения, не впадать в морализирование, хотя бы и благородное, он уповает на заинтересованное читательское соразмышление.

Читая философски-иронические пассажи Г. Дочанашвили, очень уж легко представить дело так, будто он вступил в полемику с «шестидесятниками», с их романтизированной проповедью добра, с их безграничной верой в духовные силы человека. Ситуация представляется мне несколько иначе. Писатель творит в соответствии со своими, индивидуальными представлениями о существе и форме того, что нужно сказать читателю. Ироничность пера — дар врожденный. А вот подход писателя ко многим нравственным проблемам оказался очень близок его аудитории. 70-е годы, напомним, взывали к аналитичности, трезвому взгляду на человека и его социальное поведение.

«Шестидесятниками» была взята настолько высокая нота, что некоторое снижение тона, видимого накала в твор-



016 0353 440
302 52 010333

честве обретающей свой голос литературной молодежи можно считать просто неизбежным.

Г. Дочанашвили родился перед самой войной. А в литературу уже вступало поколение, родившееся в послевоенные годы...

Первые публикации Годердзи Чохели на русском языке представлял читателю Нодар Думбадзе.

Не хотелось бы удариться в дурную символику: от старшего к младшему передано то-то и то-то. Литература — не эстафетный бег. Но, куда ни посмотри, преемственность в литературном деле — одно из условий его полнокровного существования. Преемственность, означающая и развитие, и движение вперед или хотя бы попытку такого движения и развития.

«Шестидесятники» начертали на своих флагах: нравственный максимализм. Подумаешь — где же предел ему? — читая хотя бы рассказы Джемала Топуридзе (писателя, погибшего тридцатилетним в конце 70-х годов) «Рождение», «Капитан», «Мужчина». Жесткий, до беспощадности жесткий взгляд на человека, нетерпимость к малейшей фальши и душевной слабости. Понимающее сочувствие к тому, кто живет не так? Да нет, строгий спрос — ведь каждый ответствен за себя и свою судьбу. А утверждать себя не просто трудно — надо биться за это самоутверждение... Можно было бы задаться вопросом: почему писатели, чье детство и отрочество пришлось на военные годы со всем, что те принесли, оказались милосерднее, мягче к своим героям, чем литераторы куда более молодые? Нет тут простого ответа, а мимо литературной — и нравственной — данности пройти нельзя. Или снисходительность недостойна человека, мешает ему подняться до уровня самого себя, очищенного от скверны? И права Лали Брегвадзе, показывающая в своем рассказе «Улыбка манекена», сколь бесчеловечно для супружеской пары существование под одной крышей, в котором все — обман, мираж, несбывшиеся надежды?

Смотреть на вещи без иллюзий — литературе необходимо и это. Нынешнее поколение более прагматично, чем «отцы», удивительно ли, что это сказывается на способе литературного мышления молодых?

К счастью, их творчество нельзя свести ни к одной, хотя и важной, теме, ни к одной, хоть и характерной, интонации. Традиционен рассказ Маки Джохадзе «Обыкновенная жизнь» — традиционно уважение к человеку, способному долгие годы

жить для других, не требуя ни почестей, ни обычной благодарности. Нет никаких подчеркнутых новаций в рассказе Автандила Чхиквишвили «Снег». Есть зато характер подростка, мучающегося в момент немалого испытания, есть пробуждающаяся личность, есть человек в самых реальных земных обстоятельствах.

Ощущение своей земли, гордое и трепетное, — вот что характерно для грузинского рассказа. И не формальная связь между ушедшим из жизни главой «шестидесятников» и молодым литератором и кинематографистом Годердзи Чохели, который создает на бумаге и на экране свой мир, имеющий твердые географические очертания, беспредельный, как всякая художественная реальность. Рассказы Г. Чохели составили своеобразный эпос, героико-фантастически-юмористический. В этих рассказах человек, обидевшийся на односельчан, может стать рыбой, а другой, снимавшийся для кино в роли оленя, — оленем же, а третий — елью, отдав ради жизни дерева собственную жизнь. Единение человека с природой становится не умоглядной формулой, а сутью и необходимостью существования всего живого.

Годердзи Чохели знакомит нас со своими далекими предками, раз и навсегда проложившими между добром и злом — эта межа существует и поныне, и четкое деление жизни на светлую и темную стороны кажется само собой разумеющимся.

Горское существование требует твердости духа, стоицизма, воспитывает людей гордых и вольных. «Нигде так не переживают смерть человека, как здесь. Народ в горах одинаково чтит и жизнь, и смерть», — эти слова принадлежат кинематографисту, герою одного из рассказов Г. Чохели, разве он сам иного мнения? Его персонажи могут лукавить и обманывать друг друга («Неподеленная ворона» — яркий пример), пить, драться и мириться на праздники, совершать тяжкие и несправедливые ошибки — всегда возьмет верх уважение к чужой жизни и своей собственной, если она подчинена естественным требованиям трудовой морали.

О старой крестьянке («Часы Мартаи Когорашвили»), пытающейся определить свой возраст, сказано так: —

«Сдна у нее точка отсчета.

— Когда колхозы у нас устанавливали, мы с Зитандап Хизанишвили первыми записываться пошли, одних лет с неко были, на пару работали, — я тридцать кило масла в день сби-

вала, Зитандар — двадцать. Нас еще тогда часами колхоз на
градил...

Уже никто из живущих и не помнит Зитандар Хизани
швили, даже могила ее с землей сровнялась, а для Мартаи она
все еще живая».

И — финал прекрасного рассказа:

«Медленно подернутся пеплом обуглившиеся поленья в
камине.

Мгла воцарится в комнате.

И только дыхание женщины да тиканье часов будет сви-
детельствовать о жизни в ночи.

Потом дыхание прервется.

Часам надолго хватает одного завода.

Потом из нижней деревни сюда поднимутся близкие.

Часы, если даже они остановились, могут начать ходить
снова».

С «шестидесятниками» можно спорить — они сами не
любили канонов. Ими сказано многое — о жизни и человеке,
о всемогуществе добра, о том, как неисчерпаема человеческая
личность. Сказано горячо, с упоительным чувством первоот-
крытия.

Уточнения, конечно же, нужны, жизнь не стоит на месте.
Да и была бы необходимость в новых генерациях в литера-
туре, если бы они не приносили своего, нового слова?

А преемственность, далекая от тусклого ученичества, —
не звук пустой. Напряженный психологизм в рассказах Сосо
Пайчадзе (один из них — «Платформа Ботанический сад») ста-
нет понятнее, если вспомнить прозу Тамаза Чиладзе: это по-
иск в одном направлении. От Джемала Топуридзе не так уж
трудно «вернуться» к Гураму Гегешидзе: признанный «ше-
стидесятник» продемонстрировал довольно-таки жесткий в
своем равнодушии взгляд на человека, и важно увидеть, как
ищет литературный герой душевную опору, и находит ее «в
самом себе, в духе своих твердо стоящих на земле предков».
Прочтите «Расплату» Г. Гегешидзе и рассказ Д. Топуридзе
«Мужчина». Нет ли там родственных мотивов?

Зерна, посеянные грузинскими «шестидесятниками», да-
ли свои всходы. И им суждено плодоносить долго.



Татьяна МЕЙЗЕРСКАЯ

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ ЛЮБВИ И СКОРБИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД
ПОЭТИКОЙ РОМАНА
О. ЧИЛАДЗЕ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕАТР»

С КАЗАТЬ слово о новом романе О. Чиладзе нелегко, но не сказать невозможно. Это произведение, несомненно, — крупное завоевание нашей советской послевоенной прозы.

В двух статьях первых исследователей романа К. Имедашвили и Л. Аннинского намечались как общие, так и противоречивые тенденции в понимании поэтики произведения.

К. Имедашвили считает, что, в отличие от двух предыдущих романов О. Чиладзе, поэтика «Железного театра» зиждется не на принципе мифологизма. А Л. Аннинский придерживается мнения, что это «величественный, незамутненный в кристальной, ледяной, далекой глубине своей — миф». И с ним нельзя не согласиться.

Если в первых двух романах миф фигурирует как элемент содержательной структуры произведения, то в последнем он становится основным приемом композиции романа. Именно один из универсальных принципов мифопоэтики — принцип повторяемости — и выбирается писателем как главный в сюжето- и смыслообразовании произведения.

Употребление повторов как смыслообразовательный фактор заметили оба критика: взвизгивает калитка, всплыва-

ют в розовой воде руки артиста, море, часы-амур... Этот ряд можно продолжить. Но об этих образах можно говорить, как и об определенных лейтмотивах. А принцип повторяемости — в другом. Именно благодаря ему и создается центральная мифологема романа — мифологема театра.

Дело в том, что история в романе предстает как повторное разыгрывание определенных ролей и ситуаций. Действительность, таким образом, выступает как временная парадигма определенных архетипов.

Исходя из этого, трудно согласиться с концепцией масок, представленной К. Имедашвили. Исследователь считает, что в романе «разыгрывается жуткий спектакль, участники которого носят хорошо пригнанные маски: трус — маску смельчака, человеконенавистник — гуманиста, человек пассивный выступает под личиной энергичного, эгоист — альтруиста, неверующий — благочестивого», что «большинство героев представлено двойко — в маске и без нее». «Показной их характер автор называет ролью, действие — спектаклем».

Но ведь само бытие героев произведения отнюдь не артистично. На сцене жизни они исполняют роли, не принимая, а отталкивая маски, будучи с ними в постоянной борьбе вплоть до изнуряющей раздвоенности и смерти. Герои О. Чиладзе не прячутся за маской сознательно, в любом случае, даже если их преследует страх или совесть (как в поединке Журули и его дочери), они предстают перед читателями искренними и беззащитными. Но безжалостное время как бы испытывает их, в действительности стремящихся к красоте и гармонии, облачая в неестественные маски, превращая движение судеб в железную игру рока («Без парика и без маски мы никому не нужны. Парик и маски кормят нас»).

Нельзя согласиться с мыслью, что тбилисский артист и Нато погибают духовно и физически именно потому, что «изменяют своей сути». Но какой сути? Сутти любви? Ведь артист не может предать любовь в ситуации, где «купить и продать» понятней, чем полюбить («Необходимо прежде всего разрушить любовь, чтобы построить дом, украсить его стены, уставить его мебелью и, на зло врагам, набить безделушками шкафы и горки»); Нато не может предать сына. Она, как и актер, выбирает путь страдания и искупает «вину» смертью.

В непримирении героя с маской таится и трагедия Сабы Лапачи, который всю жизнь «играл чужую роль».

Постигая смысл произведения, принцип «маски», очевидно, следует понимать лишь как прием «текучести» персонажей, их

взаимозаменяемости, как способ скорее не внутри — (хоть такое тоже есть, безусловно), а как бы междуперсонажного действия, т. е. исполнения разными персонажами (масками) одних и тех же ролей.

Особенно четко этот универсальный прием мифопоэтики прослеживается в создании образов Елены и Нато. Похожими, как утверждает О. Чиладзе, их делала та «одинаковость самородных и самобытных целей», которая допускает «лишь повторение, но не подражание». И действительно Нато, как в зеркале, отражает жизнь Елены, повторяя уже проигранные героиней роли: любящей и возлюбленной, дочери и матери. Елена же, в свою очередь, проигрывает роль своей свекрови — скромной крестьянки — матери актера. «Вот и я сегодня, как моя свекровь тогда», — вспоминает она при первом приходе Нато в Железный театр. И дальше: «Вот и Нато, как я тогда».

Таким образом, приход матери актера в дом родителей Елены, приход Елены в дом Димитрия после очередного бегства Гелы и приход Нато к Елене с надеждой найти понимание и соучастие моделируют одну и ту же ситуацию, в которой происходит лишь обмен ролями, но сущность которой архетипична в своей основе: вечный поединок двух любовей — женской и материнской.

В создании таких полииндивидуальных ситуаций скрывается загадка некоторых особенностей мифологизированного сознания — специфическая полииндивидуальность мифа, где, как хорошо известно, «персонажи обладают способностью взаимозаменяемости, их сущность легко переливается, перемещается в других лиц» (Аверинцев С. С.).

Если представленный ряд женских «превращений» как бы символизирует сущность любви, то «превращения» типа: отец Дарьи, его «воскресение» в образе артиста, мятежный дух Гелы — представляют ряд символов борьбы.

Нетрудно заметить, что в описанных случаях разные герои, попадая в похожие ситуации, выполняют похожие роли. Но автор использует и такой прием, когда один и тот же герой выполняет разные роли в зависимости от разных ситуаций. Такой способ организации персонажа особенно четко представлен в создании образа Елены, которая предстает перед нами то как любящая женщина, то как любящая мать.

Дважды уйдет Елена из родительской тюрьмы: первый раз — с артистом, бессознательно, по зову любви, второй раз — с его сыном, сознательно, навсегда; и теперь ей покажется, «будто все

члены ее семьи повторяли уже однажды сыгранные, но позабытые роли перед очередным спектаклем».

Дважды повторит Елена путь Любви, когда впервые распахнет дверь комнаты актера и когда придет в дом, отнявший у нее сына, — дом Нато. На этих двух «уходах» и «приходах», как «на опорных столбах, покоилась вся ее жизнь».

И так каждый из героев романа движим великим счастьем-несчастьем любви, которая создает как цельность, так и неразрешимую противоречивость их характеров и судеб. Именно любовь и вера, достигнутые величайшим страданием, придают им силу, делают их великими. А вся трагедия героев в том, что они «не в состоянии ответить любовью на любовь», и от этого жизнь для них становится «страшнее смерти».

Трагедия героев еще и в том, что они, не будучи повинными, несут на себе вину страшного времени. В этом смысле все они выступают как избранники времени, его герои, а не зрители. «Кара за несовершенное преступление — удел посвященных в тайну избранников, и каждый из них «не имеет права на слабость, он должен вытерпеть муки, не сломиться и не сдаться, не признать вины, которой за ним нет, преступления, которого не совершил и за которое несет наказание».

Мотив времени как рока достаточно сильно звучит в романе. Одним из центральных символов времени в романе выступает агонизирующая империя, вознесшая в закон грабеж, убийство, насилие.

Дух эпохи, как правильно отметил К. Имедашвили, — главное действующее лицо романа. Он проявляется в поединке двух противоборствующих сил — в стремлении к свободе и в попытках эту свободу задушить. Эта раздвоенность возникает как бы внутри исторического времени, но есть еще противоречие и внешнее: борьба старого патриархального уклада с новым, трагическое неприятие героями «нового», порождающее психологию тотального отчуждения, влекущего страх, раздвоенность, признание за собой несодеянной вины.

Ушедшее, «отцовское» воспринимается героями как святыня, где, судя по рассуждениям обращенной в прошлое Дарьи, «страх высмеивали, где проповедовали добро и берегли любовь, как зеницу ока». Готовясь к смерти, мать Димитрия верила, что его отец ушел первым, чтобы согреть ей могилу. В том, навсегда ушедшем времени, смерть считали «не концом всего, а лишь переменой», «не прятались от горя, не страшились невзгод, а с благодарностью воспринимали счастье и радость».

Но роли уже проиграны. Спектакль окончен, зрители разош-

лись. Новое время провозгласило свой жестокий железный закон — убей или будешь убит. Главный тезис времени в романе сформулирован очкастым: «Человек, — говорит он, ³⁴ ¹⁹⁵³ ³³⁸ ³⁰² ¹¹¹⁰¹³³³ должен быть способным либо покончить с собой, либо убить другого, либо за другого умереть».

Именно эти пути определяют судьбы трех центральных персонажей «Железного театра» — артиста, Дмитрия, Сабы. Артист становится самоубийцей, Дмитрий — убийцей своей дочери, а Саба всю жизнь «умирает за другого», повинуюсь и сопротивляясь.

Ни один из этих путей не изберет Гела. Пройдя испытание «временной смертью», он как бы вторично рождается в борьбе с самим собой. И он спасен (в этом — величайшая по своему гуманистическому пафосу мысль произведения), спасен обезличенным человеком, убийцей, человеком-волком, спасен, чтобы, «будучи последним единомышленником отца, его солдатом, не бросившим оружие среди уже проигранного сражения», до конца выполнить свой долг, пройти свой путь любви и страданий. «Дух, в борьбе обретший силу, порождает справедливость, справедливость — путь к любви, а любовь рождает радость», — вот антитезис мысли очкастого. На этих двух фразах как бы замыкается главное смысловое ядро произведения. Здесь нельзя не согласиться с мыслью К. Имедашвили о незавершенности смысловой структуры «Железного театра». Ведь вся история еще повторится в судьбах Гелы и Андро, теперь за ними роль избранников на великой сцене исторического бытия. Спектакль начинается сызнова.

О чем еще хочу сказать? Об образе Дмитрия. По-моему, он, как и образ Елены, — большая удача автора. Именно образ полицейского Журули как нельзя глубже воплощает в себе трагедию раздвоенности того времени, когда «человек одной рукой вливал лекарство в беззубый рот умирающего века, а другой качал колыбель века наступающего». Дмитрия пронизывает страх перед будущим, страх за утерю своего дома. Страх героя доведен до гротеска: именно он отнимает у Журули «способность произвести на свет свое подобие». Дмитрий настолько запуган и вынужден маскировать свой испуг, что ему приходится «страхом закрываться от страха». Дмитрий боится быть призванным на сцену, замыкаясь, как в яичной скорлупе, он предпочитает оставаться незаметным зрителем. В этом страшном, обреченном мире, считает герой, «человек должен все скрывать — душу, талант, саму жизнь». «Разве не расточали, — думает он, — без оглядки свою душу, талант и жизнь его двухкратные соседи и разве это не погубило их?.. Вышло так потому, что они не спра-

виделись со своей бывшей через край жизнью, не сумели укротить, смирить ее... Не надо позволять жизненной силе убить себя, надо самому убить жизнь, убивать ее по немногу, по частям, по крохам, если хочешь выдержать, уцелеть, спастись от этого ада». В этих словах раскрывается основной принцип жизни Димитрия, его способ противостояния времени. Не зря он панически боится актера, жизнь которого — полная противоположность жизни Журули. Но не только противоположность. Актер — его двойник. Он реализует то, что убивает в себе Димитрий, сын своих жизнелюбивых, приверженных к красоте и гармонии родителей.

Именно ситуация двойственности порождает страшный конфликт в душе героя даже спустя много времени после смерти артиста. Конфликт Димитрия с актером — это конфликт героя с самим собой, с собственной маской, с тем, что он так тщательно пытается спрятать под ней.

В ненависти к актеру как к самому себе — крах идеи героя. Пытаясь подменить сущность маской, он делает несчастной Дарью, губит Нато. Интересно отметить и тот факт, что смерть дочери Димитрия в данном случае неизбежна, как неизбежен крах его жизненного принципа. В этом смысле гибель Нато близка гибели Аннеты из предыдущего романа О. Чиладзе, где на нее в чем не повинную героиню ложится печать проклятия Кайхосро.

Раздвоенность Журули подкрепляется в романе и внешними признаками. Подчеркивая мягкость и доброту характера героя, автор всякий раз изображает его испачканным грязью, то по колону (в сцене с козленком), то с перепачканными ботинками (в сцене поминок Гелы).

Своеобразной ипостасью образа жизни Димитрия выступает бутылка с огурцом. Бутылка, которая символизирует стремление запуганного индивида к неизменности и спокойствию, к изоляции от внешнего мира. Именно она вызывает «чувство беспокойства» у Елены. В ней героиня как бы узнает свой прежний образ жизни, который не принял ее муж и который ждал ее сына. Не зря Нато разбивает бутылку, а по щеке ее отца «сползает алый червяк» — струйка крови, которой он скоро заплатится сполна.

Иной вариант трагической раздвоенности представлен в образе Сабы Лапачи. Трагизм отчуждения героя доведен до крайности; всю жизнь, «начиная с 9-летнего возраста, он жил чужой жизнью, «играл чужую роль», а его истинная природа была запрятана, похоронена в мундире, как мертвец в земле».

Но герой ни на минуту не примиряется с обстоятельствами. Ведя двойную жизнь («В казарме он расплачивался с навязанным

ему долгом, а в городе сознательно брал на себя долг); он все время борется со своим мундиром, со своим невежеством, стремясь к идеалу («Я сначала слушаю свою совесть, а уже потом — ваши безумные распоряжения»).

Не от майора ли Кайхосро, — спрашивает в посвященной роману статье Л. Аннинский, — происходит полковник Саба Лапачи? Ни в коем случае. Дело же не во внешней ассоциации мундиров, Саба срывает погоны, которые так свято чтит Кайхосро. Наверное, по сходству идеи («убей другого») Кайхосро ближе Димитрий как более мягкий вариант того же зла. А Саба — полная противоположность как Кайхосро, так и Димитрия.

Невзирая на все сложности страшной судьбы, Саба сохраняет в себе человечность, он готов принять «грех» Нато, но, обессиленный, испытывает может быть самый последний и самый сильный удар судьбы.

В трагическом сопротивлении личности предназначенному ей року — сила и пафос характера Сабы, гуманизм его образа.

Отар Чиладзе — большой мастер передачи внутреннего состояния героя путем создания сложных ассоциаций, возникающих в его сознании при столкновении с миром.

Вот перед нами одна из первых встреч с Нато. Девушка в смятении, мысль о беременности наполняет ее страхом, ей тяжело скрывать в себе свою тайну, но признать ее еще ужасней. Только страх или беда бóльшая, чем личная, заставит героиню сделать это. «Война неизбежна. Камня на камне не останется», — вдруг послышалось ей. И сразу же решение — пойти к матери Гелы и все рассказать. Страх, вытесненный страхом, порождает свою противоположность. Нато ведет себя так, «как будто с цепи сорвалась»; но поняв, что не будет воспринята, словно бы оправдывает свое поведение все той же фразой: «Война неизбежна. Камня на камне не останется».

А вот артист. Одинокому, заброшенному, игнорируемому властями, ему все трудней и трудней найти в себе силы «околдовать зрителей». Знает он и то, что, убежав однажды из дому жены, он больше не найдет в нем места. Артист мечется между любовью и долгом, между игрой и жизнью. Противоречивые ситуации все глубже усиливают раздвоенность героя. И вот — последний камень — письмо от жены. Амалия принесла его, когда актер сидел перед треснувшим зеркалом и зашивал тогу Цезаря (позже Елена вспомнит «покойного мужа, задрапированного в тогу Цезаря, двадцать три раза пораженного кинжалами и один раз умершего. И убит он был не последним ударом кинжала, а всеми двадцатью тремя одновременно, единож-

дь»). А сейчас он «спокойно засунул конверт в карман и посмотрел на собственное отражение, к тому же разрезанное трещиной на две половины»... и дальше: «из зеркала смотрело на него колоде надвое, раздвоенное лицо, бессмысленное, безжизненное, — два острова, разделенные водой, еще не открытые, не обитаемые». Затем ужин, артист снова присматривается к своему, уже цельному, лицу, отраженному в зеркалах ресторана. Что таится там, в скрытом пространстве зазеркальных глубин, что ждет его в будущем, где ответ? Он есть, но он скрыт в подсознании и угадывается героем только через рассказ официанта о Европе, внутреннее положение которой в данном случае выступает как аналог душевного состояния героя, его жизненной перспективы.

Примерно так же разгадывает загадку своей судьбы Саба Лапачи в разговоре с духанщиком, поведавшим историю о сыне, прячущемся в яме, и матери-доносчице.

Блестяще написаны страницы «ухода» Нато (кстати, в том, что она погибает в платье матери Сабы Лапачи есть тоже глубокий смысл какой-то трагической вины материнской любви). Нато имеет свою ипостась — лимон. Еще перед рождением дочери Димитрия посещает смерть, которая говорит, что ничего ею не будет взято из дома, кроме одного лимона. А потом усердно и жадно высасывает желтый плод.

Проходят годы, страхи улеглись, но предательство Димитрия раскояло дом, посеяло в нем боль и тревогу, ощущение чего-то неизбежного. Этим чувством проникнуты все обитатели «грузинского острова», даже маленький Андро: «когда он проснулся, мать подхватила его на руки, вынесла на террасу и сказала: «Вон, смотри лимонное дерево цветет». Он так возбудился, так разыгрался на руках у матери, словно знал, что такое лимон, и понимал, что значит цвести. Он проследил взглядом за материнским пальцем, и бездонная, сочная, яркая зелень ударила ему в глаза, словно пенногивый вал взлетел на террасу, чтобы подхватить и унести мать с сыном. Испуганно обхватил Андро шею матери. Нато улыбнулась и, ласково взяв его за подбородок, повернула лицом к саду. Там пылало, словно охваченное огнем, лимонное дерево...», и сердце маленького Андро «наполнилось радостью и гордостью оттого, что он уже что-то знал, что-то помнил; и эти запавшие ему в душу впечатления должны были стать основой многих неизгладимых воспоминаний, которые будут сопровождать его до самой смерти».

Затем в разыгранной Нато сцене поминок Гелы лейтмотив лимона-смерти нарастает, пронизывая все события в доме Жу-

рули. НАТО целый вечер, жадно щурясь, высасывает лимоны, собирая кожицы в тарелку. Потом «тарелка запрокинулась и обса-
3041353/41
303221110333

санные корки посыпались ей на грудь».

Следует отметить, что каждый из героев имеет свой закрепленный в вещном мире символ — будь то тога Цезаря для актера, пистолет — для Гелы, мундир — для Лапачи, ликер, пудра и сигареты — для его матери, зонт и черная вуаль — для Елены, бутылка с огурцом — для Димитрия... Кстати, этому пошедшему символу замкнутости противостоит символ моря как чистилища.

Трудно согласиться с мыслью К. Имедашвили о том, что лебедь, возникающий во сне НАТО, — ипостась Гелы. Наверное, все же — Андро. Именно его жизнь, ее спасение доминируют в сознании НАТО, в реализации ею материнского инстинкта как искупления вины.

Нельзя согласиться и с мыслью о том, что внутренняя драма Елены предстает во всем своем трагизме как «раздвоение личности, распад характера на определенные фрагменты-персонажи» (К. Имедашвили). На такую мысль, наверное, наталкивает принцип проигрывания ролей, который является доминирующим в сознании характера героини.

Но именно в ее способности соотнести себя с другими, узнать «свое» в чужих судьбах и дать ему правильную оценку — проявление силы и стойкости Елены, придающих необыкновенную цельность ее характеру.

Следует принять интересную мысль К. Имедашвили о том, что в один из главных поэтологических принципов романа возведена стилистика «потока сознания» и что она находит оригинальное воплощение. Это несомненно так, и исследование данного вопроса заслуживает отдельного внимания. По этому поводу хотелось бы высказать мысль, что внутренняя речь героев «Железного театра» построена по принципу воплощения доминирующего сознания каждого из них. Именно доминанта сознания того или иного героя организует разные «языки» и мысли в единое целое. Это, как и употребление отмеченных уже повторов-лейтмотивов, позволяет преодолеть фрагментарность, создать возможности для целостного восприятия героя, чтобы, проследив его судьбу, выслушать исполненную величайшей скорби исповедь Любви Человека.

МЫСЛЕННО воскрешая образ Миколы Платоновича Бажана, я вспоминаю картину, выхваченную из одной с ним встречи, — в дни последнего посещения им Тбилиси. Мы все были в гостях у Ираклия Абашидзе, и Миколе Платоновичу вдруг захотелось вновь побывать у стен Метехского храма и оттуда окинуть взглядом кварталы любимого города. Машина мигом доставила нас в этот любимый душе уголок. Ничего, казалось бы, особенного не произошло, но эти сумерки у Метехи и воодушевление одного из самых удивительных людей, чьей дружбой одарила всех нас судьба, навсегда остались в моей и, конечно, Ираклия Виссарионовича памяти. Теперь-то минуты эти воспринимаются как непредумышленное и неосознанное прощание большого украинского поэта с грузинской столицей.

А вот предо мною последняя при жизни Миколы Платоновича подготовленная на русском языке книга его мемуарных очерков и литературных эссе. Раздумья и воспоминания выдающегося поэта, человека огромной культуры, энциклопедических знаний, глубокого жизненного опыта. Культуры, знаний и опыта—не просто благоприобретенных, а буквально востраженных собственною судь-

Георгий
МАРГВЕЛАШВИЛИ

**МЫСЛЕННО
ВОСКРЕШАЯ
ОБРАЗ
МИКОЛЫ БАЖАНА...**

бою, о которой он с благодарностью скажет: «Спасибо тебе, судьба моя нелегкая, но и не беспощадная! Ты так проложила мой путь по перекресткам и кручам времени, что я познал счастье встретиться, увидеть и даже подружиться с людьми прекрасными и благородными — и каждый из них был прекрасен и благороден по своему...»

Я знаю цену этим словам, ибо среди прекрасных и благородных людей, в большой тени которых выпало счастье бывать и мне, возвышается и фигура Миколы Платоновича Бажана, а его беседы, его письма, раздумья и размышления вслух — было ли это на родной ему Украине — в Киеве, Миргороде, на Полтавщине, было ли это в Москве или даже в Италии, на протяжении короткого по сроку, но долгого по смыслу месяца, проведенного в Риме, Болонье, Флоренции, Неаполе, Помпее — беседы эти стали сокровенной частью моего духовного и душевного опыта. Так и получилось, что еще задолго до того, как я открыл эту лежащую сейчас передо мной дивную, магнетической притягательности книгу, от которой трудно оторваться, не дочитав ее до конца, мне уже приоткрылась завеса над драгоценными крупичками, составившими эту будущую сокровищницу духа. И вот теперь и для меня стали в полной мере сбываться слова Миколы Платоновича: «В потоке жизни меж нами нет преград. Поколение от поколения принимает эстафету памяти. Те, которые отошли, жизненно необходимы тем, которые идут...»

А еще недавно он был рядом, уже испытавший прикосновение тяжелого недуга, но под крылом целительной заботы неразлучной Нины Владимировны все еще живущий по завету лучше всех в мире переведенного именно им Руставели — «Что отдашь — твое!...» Он был рядом и щедро одаривал собеседника наблюдениями, мыслями, воспоминаниями, вызванными ходом беседы, размышлениями на злобу дня и на темы более близкие к вечности. Так было и в том достопамятном январе семьдесят четвертого года, когда он был моим незаменимым чичероне во время поздних прогулок по улицам незнакомого мне и, как мне казалось, чуть ли не родного ему Рима: он знал все, и не только восхищенно, но и восхитительно госвящал спутника в маршруты городских кварталов двадцатипятивековой истории Вечного города. А беседа ветвилась, перекинувшись и на Сицилию, и я тогда впервые узрел штрихи того портрета Анны Ахматовой, который блестяще воплощен ныне в этой книге, в очерке, посвященном вручению Анне Ахматовой премии «Этна-Таормина»; там же ловил я жадно его мысли о Петрарке, о котором у меня, грешного,

были весьма узкие и даже банальные представления; а он раздвигал горизонты, привлекая для этого и материал славянских апперцепций великого итальянца — теперь все это ярко и подробно освещено в заключительном очерке книги — «Петрарка в восточнославянском мире». И, конечно же, даже в Риме, не говоря о Москве, Киеве или Тбилиси, не могла не вспыхнуть, не возгореться в его устах грузинская тема, переплетенная с украинской, с русской, не могли не прозвучать имена, не затрепетать судьбы Тициана Табидзе и Паоло Яшвили, Георгия Леонидзе и Симона Чиковани...

Микола Бажан и Грузия! Что это — тема благородной и мудрой диссертации или чудотворное явление для вечного преклонения? Ведь, если назвать пять поэтов, первыми переведших на родной язык почти всю поэтическую классику братского народа и многих лучших его поэтов-современников, неизбежно будут названы Николай Тихонов, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Павел Антокольский и Микола Бажан. Причем Микола Бажан один перевел на украинский едва ли не столько же, сколько остальные его друзья — на русский. Недаром среди первых лауреатов премии имени Руставели мы числим вместе с Тихоновым и Заболоцким также Миколу Бажана.

В «Раздумьях и воспоминаниях» центральной фигурой из грузинских друзей Миколы Бажана встает образ Симона Чиковани, с которым, как он пишет, «столько лет дружил как с самым близким и родным человеком, столько пережил и передумал, столько дорог и стезек протопал». Очерк о Симоне Чиковани назван так — «Он разговаривал с горами». Здесь и реальная основа — Симон Чиковани руководил его первой поездкой по горной Грузии — Хевсурети, — и здесь поистине «он дирижировал Кавказскими горами»; позднее он же знакомил Миколу Платоновича уже с горами южной Грузии — с пещерным дворцовым комплексом Вардзиа, с ее замечательными фресками XII века; но слышится в этом заглавии и звучание одного из лейтмотивов поэзии самого Чиковани. Особую интимную теплоту и сердечность придают этим воспоминаниям образы кровно близких Симону Чиковани людей — жены Марики, сына Ники... А главное, шаг за шагом (и в смысле буквальном описаны ведь путешествия по Грузии) со страниц воспоминаний Миколы Бажана встает живой образ замечательного поэта и человека редких, исключительных достоинств. В одном из других своих очерков Микола Платонович пишет: «Чувство дружбы для художников, артистов, поэтов нашей страны является неисчерпаемым источником вдохновения и духовного обогащения. Стремясь укрепить его, следует придерживаться

И тут мне сразу же хочется сказать об одной особенности собственно мемуарных очерков Микола Бажана. Я бы мог назвать эту особенность жанровой, если б речь шла просто о формально-поэтической стороне дела. Никого не должна удивить, скажем, вдохновенная поэтичность письма автора — одного из крупнейших поэтов своего времени в мировом масштабе. Но поистине поразителен талант прозаика, сказавшийся в его мемуарном повествовании. Живописная и пластическая выразительность слова, описание и рассказ, портрет и пейзаж, характеры и обстоятельства, психологический анализ и образный синтез — все подвластно его перу. Как-то в очерке о Довженко ему довелось сказать, говоря о новаторстве последнего: «Чтоб создавать кинематографию, Александр Довженко «грабит» литературу и театр», или — «Довженко берет в плен другие искусства». В высоком смысле «берет в плен» или «грабит» все близкие ему искусства и Микола Бажан. В этом отношении особо выделяется блистательный очерк, посвященный Юрию Яновскому, — «Мастер железной розы». Какая это симфония! Страницы обращения к другу от первого лица сменяются, казалось бы, спокойным повествовательным потоком уже «о нем», вскоре портрет друга становится «групповым портретом» поколения на фоне быстротекущего времени. Города и годы Советской Украины 20-х и 30-х годов являют нам социальный масштаб и нравственную суть формирования характеров и судеб виднейших представителей украинской литературы и искусства. А какой мастер прозы или кинематографа не позавидовал бы бажановскому воскрешению встречи на только что освобожденном от фашистов клочке украинской земли Юрия Яновского со своей матерью и сестрой, окаменевшими тенями застывших у разрушенной хаты под черной печной трубой над жалким очажком. Комок к горлу подступает, когда читаешь эти страницы. А сколько таких страниц, особенно в описаниях киевской страды — и в очерке об Яновском, и в других, и в этюде «Концерт в Киеве во время осады», где запечатлен концерт пианиста Леопольда Мюнцера в клубе писателей с потрясающим исполнением бетховеновской «Апассионаты». Поразительно само бажановское описание этого концерта, впечатления, им произведенного, зрительно — эмоциональных ассоциаций, им вызванных. А передо мною, читавшим эти строки, в силу разбуженного во мне своего рода «двойного зрения» воскресли и могучие пластические образы гениального музыкального создания, чудотворно воплощенные на пороге семидесятых Вахтангом Чабукиани на языке хореографии. Ведь в обоих случаях сбылись вещие ленинские слова о «нечеловеческой музыке», сотворенной человеком.

Но вернемся к симфонии в прозе, посвященной Юрию Яновскому. Я написал «в прозе» и тут же мысленно перенесся к заключительной коде этой симфонии, где проза как бы незаметно, исподволь переходит в стихи, не меняя внешнего строчечного облика, но обретая строгую ритмо-метрическую структуру и перекрестную или кольцевую рифмованную опору. И все таланты, которыми бог наградил Миколу Бажана, щедро явлены в «Мастере железной розы», показывая нам и свое единое инобытие — великий Дар Любви.

Светом этих талантов и этого дара пронизаны и другие мемуарные очерки и этюды Миколы Бажана. В центре этих воспоминаний и украинцы — вслед за Юрием Яновским — Александр Довженко, Леонид Первомайский, Василий Эллан-Блаkitный, польско-украинская деятельница Ванда Василевская, и русские — Николай Тихонов, Анна Ахматова, Александр Твардовский, Эдуард Багрицкий, и грузины — Симон Чиковани, Тамара Абакелия, Натэ Вачнадзе, и армянин Егише Чаренц, и калмык Давид Кугультинов, и поляк Ярослав Ивашкевич. Не менее разнообразна и «культурная география» историко-литературных эссе Миколы Бажана (Петрарка, Пушкин, Толстой, Гурамишвили, Кохановский, Мицкевич, Норвид, Словацкий).

Нет никакой возможности привлечь и воспроизвести здесь все контексты, в которых в мемуарной книге Миколы Бажана светятся и блистают имена и образы — кроме упомянутых выше — Константинэ Гамсахурдиа и Николая Шенгелая, Карло Каладзе и Григола Абашидзе. Хочу лишь еще раз — на этот раз словами Георгия Леонидзе — повторить уже хрестоматийную, но от этого не менее солнечную истину о том, что «кто же, как не Бажан или Тычина, или Рылский и их побратимы по перу, кто же, как не они, дали возможность каждому украинцу прочесть на языке Сквороды и Тараса, Леси и Франко создания Руставели и Гурамишвили, Бараташвили и Чавчавадзе, Церетели и Важа Пшавела!.. Не бесмертный ли это памятник нашей дружбе, нашему братству?»

Я уже говорил о родстве Миколы Бажана с Александром Довженко в сфере «синтеза искусства». У первого это сказалось и в поэзии, и в мемуарной прозе, у второго — в кинорежиссуре, в кинодраматургии, в живописи. Все эти стороны выдающегося довженковского таланта мощным светом освещены Бажаном сначала в очерке о Яновском, а затем в «Диптихе об Александре Довженко». И вот теперь, упоенно вчитываясь в бажановский «Диптих об Александре Довженко», я сопутственно воскрешал перед собою не только кадры виденных мною когда-то картин великого украинского мастера, но и один незабываемый вечер то-

го 1955 года в Киеве, в дни гурамишвилиевского юбилея, когда в гостеприимном доме Любомира Дмитерко я, молодой счастливчик, присутствовал на «платоновском пире» (как сказал Александр Межиров о таких беседах в чикованиевском кругу), где сливались голоса и перекликались мысли Микола Бажана, Александра Довженко, Георгия Леонидзе!.. Я воздержусь от соблазна самому вдаваться здесь в воспоминания, но не упомянуть об этом я не мог. Единственное, что я вынесу «за скобки» памяти — это подчеркнутую всеми моими высокими собеседниками мысль об особом родстве украинского и грузинского искусства, о возвышенно-романтическом, образно-метафорическом ферменте, с особой силой оплодотворяющем язык, поэзию, прозу, театр, живопись и кинематограф двух народов. И теперь, когда я читаю и перечитываю страницы Бажана, посвященные довженковской «Звенигоре» и другим его созданиям, когда я вспоминаю не вошедшую в эту книгу его прекрасную работу о Лесе Курбасе, когда я мысленно прочеркиваю линию преемственности в украинском кино от Александра Довженко до Юрия Ильенко, в моем сознании с ними перекликаются не только творения Котэ Марджанишвили, Николая Шенгелая и Сандро Ахметели, но лучшие работы их преемников от Арчила Чхартишвили и Михаила Туманишвили до Роберта Стуруа и Темура Чхеидзе — в театре, и от Тенгиза Абуладзе до Александра Рехвиашвили — в кино. Я беру примеры резко очерченные и выделенные по определенным признакам, хотя жизнь искусства, конечно, и сложнее и многообразнее...

И как не припомнить здесь перекликающиеся с этими раздумьями и выводами слова благородного друга Микола Бажана, выдающегося украинского критика Леонида Новиченко из одного его письма ко мне в октябре 1981 года: «...Прочитав Ваши взволнованные и яркие отклики на спектакли театра им. Руставели — театра поистине блистательного! — я вспомнил, с каким восторгом говорил мне нынешним летом М. Бажан о его работах, привезенных на гастроли в Киев. Нездоровым, еле передвигающимся, он побывал на всех спектаклях руставелиевцев, чрезвычайно высоко их оценивал и, сливая в одно горечь и радость, говорил, что, если линия Курбаса на Украине по ряду, как говорится, не зависящих от нас причин пока не получила достойного продолжения, то каким пышным цветом расцвела в Грузии, в ее театре, «линия» К. Марджанишвили!..» Леонид Николаевич Новиченко здесь вслед за Миколой Бажаном имеет в виду феномен родства и исконных взаимосвязей украинского и грузинского искусства. Ведь недаром марджановская же «Фуэнте Овехуна» родилась в свое время в революционном Киеве...



Первая часть «Диптиха об Александре Довженко» написана в 1929 году, вторая — через сорок два года — в 1971-м. Более полувека обнимают мемуарные очерки Миколы Бажана в своем общем потоке. И какая цельность природы автора этих раздумий и воспоминаний! Какая сила и незыблемость основных жизненных, нравственных, гражданских, политических, философских принципов и убеждений! Стремясь показать и показывая такую силу на примере других, Микола Платонович Бажан рисует вместе с тем произвольно и свой блистательный автопортрет, опять-таки своим же примером подтверждая единственную правомерность высказанного им соображения: «Поэзия не может расти отдельно. Нужно жадно, требовательно, всесторонне стремиться к действительному познанию современности во всей ее цельности, в величии ее деяний, в красоте, уродливости и сложности ее проявлений».

Более того, одна из определяющих черт этого отраженного в портретах друзей автопортрета Миколы Бажана — порожденность его человеческой, творческой, гражданской природы своим временем, советской эпохой, социалистической эрой, идеалами, миропониманием и мироощущением, запрограммированными в нем Великой Октябрьской революцией. Гуманизм и интернационализм Миколы Бажана — это гуманизм и интернационализм коммуниста и патриота, марксиста-ленинца и кровного сына Украины.

Целый мир открывает нам книга Миколы Бажана. И как прекрасно, что «поколение от поколения принимает эстафету...» Мир этот продолжает жить. Он «жизненно необходим» нам.

И эти свои сбивчивые, но от души идущие слова о большом нашем украинском друге, об одном из крупнейших поэтов XX века Миколе Бажане я хочу закончить его же строчками:

Я погружусь в ручьев студёные купели,
Картлийская заря мой облик осветлит,
И вдруг постигну я, что ведал Руставели,
Пшавела понимал и не таил Давид.
Рассвет стиха! О да! Извечна юность Картли,
В источниках ее вода сильна, жива,
И вечность стройная немыслимой закалки
Вошла в твердыни гор, и в души, и в слова.
Из тех ключей, бездонных, бесконечных,
Живую воду ненасытно пью,
И жажда поисков, и страсть скитаний вечных
Пусть полнят душу жадную мою...



Гурам АСАТИАНИ

КАК ЛЮБИЛИ В ГРУЗИИ

МЫСЛЬ о том, что каждый народ понимает любовь по-своему, впервые родилась у меня на Филиппинах.

Звездопад в обычном понимании этого слова — обильное падение метеоритов, но вот в стихах одного молодого филиппинского поэта я нашел такие строки:

С темного неба звездным потоком
Низвергнутся слезы любимой...¹

В этих словах заключалось нечто большее о характере обитателей далеских островов, нежели в сведениях, почерпнутых из этнографических справочников.

Мне показалось, что в словах этих сконцентрировалось жаркое дыхание услышанных мною на острове мелодий, дыхание диковинных цветов... Вспомнились строки из стихотворения Галактиона Табидзе «Август».

И словно хлынул поток раскаяния
Впервые в жизни согревшей девы...

Но это всего лишь невольные, вызванные отдаленным сходством ассоциации.

В любви эстетически значительно то, что более или менее выходит за рамки тривиального, что необычно, уникально, доведено до предела.

¹ Здесь и далее стихи даны в подстрочном переводе.

Монтень считал, что высшим проявлением любви римлянки были слова жены консула Пэта: «Paete, non dolet».

Как гласит предание, консул Пэт, спасая свою честь, по велению императора должен был покончить жизнь самоубийством. Он долго не решался на это. Тогда, чтоб помочь любимому человеку, жена вырвала у него меч, у всех на глазах пронзила себе грудь и, умирая, успела произнести: «Пэт, это совсем не больно».

Великая любовь немыслима без большой внутренней культуры (не образования, вкуса или же внешнего лоска, а глубокой внутренней нежности), в частности, без чувства ритма.

В «Докторе Фаустусе» Томаса Манна Кречмар обучает музыке молодого Леверкюна и его друзей — приобретает их к тайнам музыкальных шедевров.

Одна из сонат Бетховена не завершена, в ней отсутствует последняя часть, что, безусловно, нарушает узаконенную композицию этого жанра.

Кречмар, с удивительным вдохновением исполнивший эту сонату, обращается к аудитории;

— Неужели к этому можно было еще что-то добавить? Неужели после такой разлуки, такого прощания возможна встреча?

Вот она — классическая форма любви. Отсюда проистекают пронзительные пушкинские строки.

Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.

И у Акакия есть такие слова:

Ты любила меня, но затем разлюбила,
Ты одна вольна повелевать своим сердцем...

Вышесказанному противостоит романтическое понятие любви как любви беспредельной, как бескрайний экстаз и вечная неумность.

Хрестоматийный образец романтической любви — «Страдания юного Вертера» Гете.

Подобная страсть свойственна была и Николозу Бараташвили (ведь не доказано, что, оставшись наедине с гянджинскими ночами, поэт не покончил жизнь самоубийством).

Богиня любви знает цену жертве, «терпению», но более

всего — предельным проявлениям человеческих страстей. Она одинаково милостива к каждому, кто возложил на ее алтарь жертвенного агнца искренности. Вот почему в царстве любви могут смело сосуществовать Беатриче и Маной Леско.

Наш век породил некоторый скепсис к этому чувству. Блок говорил, что канули в прошлое времена Паоло и Франчески да Рамнини, но в памяти потомков сам он остался менестрелем «Прекрасной дамы», апостолом любви, а не могильщиком.

В прошлом веке в поисках новых истоков любви устремились в экзотические страны: Байрон — на берега Иордании, Мериме — в Испанию, Пушкин — к цыганам Бессарабии, Гоген — на Таити, а Лермонтов — на Кавказ.

У любви есть свой международный код и постоянный символ, понятный всем, будь он выгравирован на драгоценном браслете аристократки или же на татуированной руке бродяги.

И все же всегда и повсюду истинная сила любви — в ее удивительной, неожиданной новизне переживаний, которые родили в грузинской поэзии следующие строки:

Неужели и порыв этой души
Назывался любовью, как и у других?

Понятие любви меняется не только у народа в целом, но и у отдельного человека — в результате прожитых лет, его душевного состояния и, разумеется, предмета любви.

Но, как и любой из нас, так и народ в целом обладает некой существенной, сохраненной глубоко в тайниках души и неизменной субстанцией любви.

И труднее всего познать именно эти глубинные свойства любви.

Какой образ может лечь в основу эмблемы любви грузинской?

Определенного ответа на этот вопрос у меня нет. Чем ближе предмет, тем труднее его целостное восприятие.

Помнится, в детстве я нередко слышал, как один из поэтов старшего поколения, прогуливаясь с друзьями, непременно вспоминал такие строки:

Ты... — моя великая надежда,
Башня, выстроенная на извести...

Он читал их; словно это были строки величественного гимна. И только позднее я понял, что это были любовные стихи, и слова «башня» и «известь» относились к облику любимой женщины.

В этих стихах некая тайна, которую я, вероятно, так никогда и не разгадаю. Особенно волнуют меня два слова: «великая надежда». Не думаю, что это сказано ради благозвучия. В них сокрыт иной смысл, более емкий, более значительный. Почему столь явственно здесь ощущение вечности и непреложности (или же «башня» лишь внешний облик любимой. Что же все-таки это — плоть или материя?).

А слово «известь»? Неужели оно понадобилось автору лишь для обозначения белизны лица любимой? Хотя в другом народном стихотворении прямо говорится:

Девушка, ты бела,
Как известь на стене церковной,
Вспомню тебя среди ночи,
Просыпаюсь и рыдаю.

Так для чего все-таки автор этих строк обращается к слову «известь» — чтобы подчеркнуть белизну лица или же имеется в виду обожженная известь — символ твердости и непреклонности?

И еще: стихотворение, которое читается как величественный гимн, в котором все возвышенно, патетично, пронизано удивительной чистотой «источника бессмертия», неожиданно завершается словами, обнажающими земную страсть:

Мне бы насытиться любовью твоею,
Мне бы всю ночь пребывать с тобой.

В чем же все-таки созвучие этих двух потоков? С одной стороны, величественный гимн возвышенной любви, с другой — земная страсть.

Какая мысль заложена в контрастном единстве столь отличных друг от друга звучаний? Где следует искать основание или же истоки души и материи, столь прочного слияния «неба и земли», или же первопричину того необычного феномена, который Важа Пшавела называл синтезом предельного идеализма с «предельным реализмом»?

Древнейшие отголоски «любви грузинской» дошли до наших дней благодаря античным памятникам. Греческий ис-

точник — миф о Мееде, и римский — приключения Радамиста и Зенобии.

Костяк этих двух трагических сюжетов — чувство любви, а первопричина трагедии — разбитое счастье или же утерянная любовь.

Обе истории необычны и, вероятно, потому вызывают столь острый интерес греческих и римских авторов.

В обоих преданиях решающие поступки осуществляются на фоне крайней аффектации, но сам аффект осмыслен как естественное проявление данного характера, закономерный результат его эмоционального строя.

Не исключено, что предания о Мееде, а также о Радамисте и Зенобии родились в Грузии и были использованы писателями других стран. Ак. Церетели, в частности, не сомневался в грузинском происхождении сюжета о Мееде.

Можно смело предполагать, что грузинский первоисточник выразил в этих сюжетах нравственные представления народа. Мечь Мееди осмысливалась как аномалия, не свойственное человеку, экстремальное действие.

Мечь Мееди — это крайнее проявление ненависти, вернее любви, переросшей в ненависть, крайняя форма именно той «вражды», которая, по мнению грузина, в отличие от любви «созидающей» является первопричиной «разрушения» (или же антижизни, уничтожения жизни).

Геронтий Кикодзе в статье «Из психологии древних иберийцев» отмечал: «Как же беспощадны были они (предки грузин — Г. А.), когда вопрос касался их личного счастья!..»

С общей точки зрения это скорее языческая, «антихристианская» форма поиска счастья.

Грузинский характер, судя по произведениям наших классиков (в первую очередь Ш. Руставели), — характер, ищущий счастья, и любовь для него — высочайшая форма исполнения счастья.

Как известно, христианство создало собственную модель счастья и любви. Христианская (церковная) литература Грузии в основном утверждает ту же модель, согласно которой земное чувство, разумеется, исключается (или же максимально ограничено), но тот, кто внимательно читал грузинские гимнографические сочинения, непременно заметил потаенную земную страсть, удивительный жар переживаний, сопутствующих любви к Всевышнему.

Разумеется, грузинская духовная поэзия в этом смысле не является уникальной в мировой литературе. Я лишь хочу

подчеркнуть, что большая часть ее образцов относится к тому ряду созданных христианством поэтических творений, эмоциональную тональность которых определяет земная страсть.

Не следует забывать также, с каким увлечением переводили в Грузии те части «Ветхого завета», которые и по сей день считаются апофеозом земной любви: я имею в виду подлинную жемчужину грузинского перевода — «Песнь песней».

Небезынтересно также, что грузинская духовная поэзия не только не обходит стороной тему страстного влечения двух людей, но проявляет определенный интерес к сексуальной любви.

Если эротическая сторона конфликта Шушаник и Варкена сегодня всего лишь спорная гипотеза, то совершенно очевидно художественно-эмоциональное звучание пассажа из «Жития Григола Хандзтели», в котором передана история страстного увлечения Ашота-Курапалата. «Как я завидую тому, кто уже мертв», — это лапидарное признание отчаявшегося героя произведения выражает не только земную грусть, в словах этих — боль израненной души.

Характерным образцом грузинского варианта божественной любви можно считать стихи «Ты — виноградник» царя Димитрия, легшие в основу дошедшего до нас христианского гимна:

**Ты — виноградник цветущий,
Побег благодатный, в эдеме посаженный,
Благоуханный тополь, в раю взошедший...**

Предмет религиозных переживаний выражен в образе вечной весны, земного плодородия, возрожденной жизни.

Вообще мотив «религиозной эротики» — довольно распространенный в грузинской духовной поэзии.

Следует также признать, что какого бы происхождения ни была христианская символика виноградника и лозы (креста из лозы), расцвета своего достигла она именно на грузинской почве.

О том, что думали наши благословенные предки о земной любви (как об одном из тяжких «грехов»), свидетельствует прочитанная недавно надпись на могильном камне в Кобаирском монастыре (XIII в.):

Ушли мы из мира грешные и померкшие,
Сердце пылает огнем, изо рта изрыгается пламя,
От освобождения великого останутся (на мне) обрывки
2022 ПР10333
ЧОХИ,

Благословен ты, Христос, благословенны заповеди твои...

Художественный образ обладает самостоятельной силой воздействия, которое нередко превышает масштабы задуманного автором. Здесь — именно такой случай: это вечно пылающее сердце, которое и в могиле продолжает гореть («изо рта изрыгается пламя»), сообщает нам гораздо больше о страстях, вызвавших роковой огонь, нежели хотел того автор эпитафии. Можно предположить, что написавший эти строки, будучи морализатором, имел в виду традиционное представление об геенне огненной, но когда он писал эти строки, в нем, вероятно, проснулся и поэт.

Благодаря образной логике земная страсть предстает перед нами более сильной стихией, нежели смерть.

Я позволю себе домыслить метафору этого четверостишия, развить ее: эти красные языки пламени, вырывающиеся из-под земли, очень похожи на тот розовый куст, что вырос, по народному преданию, на могиле Абесалома и Этери...

Мы знаем, что любовь и на Западе, и на Востоке создала свою метафизику.

В Европе один из самых тонких исследователей этого чувства Стендаль в трактате «О любви» говорит о различиях между национальными «видами» любви и обретенном благодаря им счастье, в особенности, между французским и итальянским.

Отличительной чертой французского «вида» представляется ему диктат тщеславия, итальянского же — обнаженной, глубокой страсти.

Тщеславие проявляется в основном в галантности, которая, по мнению Стендаля, неотделима от грации, утонченности, а счастье, основанное на чувстве (или же итальянский вариант — Г. А.), не может быть предметом тщеславия.

Что можно сказать в этом смысле о грузинском «виде» понимания любви? Если исходить из классификации Стендаля, то грузинский «вид» любви нечто среднее между французским и итальянским, ибо мы в достаточной мере тщеславны (в соответственно грациозном его оформлении) и не обделены также подлинными страстями.

Примером того, что нашим предкам было известно о ро-

ковой силе страстей человеческих, могут служить сегодня образцы народной поэзии.

В этом смысле особый интерес представляет образ Мурмана в «Этериани». Именно в этом образе, чрезвычайно интересном образе грузинского фольклора, отразилась с особой экспрессией «диалектика» любви — ее противоречивая суть.

Счастье для Мурмана заключается лишь в обладании любимой женщиной, и он готов принести на алтарь любви любую жертву, даже собственную душу. Мужское самолюбие и страсть в Мурмане составляют единый импульс, который и определяет его характер и поступки. Действиями Мурмана руководит замутненное страстью сознание, потому-то и смешалось у него все: «любовь» оборотилась «враждой», желание «созидать» — «разрушением».

Глубоким проникновением в «диалектику» любви отмечена поэма Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Внутреннее, социальное (в определенные моменты — подсознательное) развитие этого чувства в героях поэмы выявляет его богатство и многокрасочность.

«Послание Нестан-Дареджан к ее возлюбленному» может поначалу показаться читателю типичным образцом письма романтически настроенной героини, однако вспомним, какую сильную женскую страсть проявляет она при первой встрече с Тариэлом.

Именно в разгневанном облике возлюбленной раскрылся Тариэлу впервые ее характер, который и продиктовал ему выбор барсовой шкуры в знак его верности любимой.

«Лишь царевича убей ты...» — советует своему возлюбленному Нестан-Дареджан, и слова эти продиктованы не замутненным отчаянием сознанием, а осмысленным планом действия.

Можно сказать, что именно в этих чертах характера Нестан особенно ярко проявились отпечатки языческого понимания любви (борьбы за счастье).

Но развитие ее характера не завершается этим.

В Нестан, полоненной каджами (когда душа ее соприкоснулась с истинной болью и отчаянием), остроту страсти постепенно заглушает более сильное, более глубоко осознанное чувство.

Нет, любовь Нестан не ослабла, но в ней проснулась не свойственная ей прежде мягкость и нежность, забота о ближнем. Теперь Тариэл для нее не только рыцарь ее мечты, которому она вольна приказывать совершать геройские под-

виги, связанные с риском и опасностью, а человек, которого она любит нежно и беззаветно.

Мы еще раз убеждаемся в том, что автор поэмы действительно нарисовал определенный характер своей героини, но и показал естественное, психологически закономерное его развитие, и не трудно заметить, что эволюция характера следует именно по тому пути, которым прошло грузинское мышление от язычества до христианства, — не по пути полного самоотрицания, а весьма своеобразного взаимовлияния, взаимообогащения.

Последующие поколения грузинских писателей, в отличие от Руставели, предлагают сравнительно простые концепции любви, но нередко (в особенности в пору грузинского Возрождения) и здесь возникают перед нашим взором удивительные вершины художественного видения мира.

Стихотворение Бесики «Стан красавицы» с рафинированными мотивами древнегрузинской любовной лирики стало своеобразным лирическим евангелием, в котором последователи Бесики находили готовые поэтические рецепты.

Осмысление любви как трагедии по инерции переходит в творчество последователей Бесики, но со временем мотив этот, теряя свою внутреннюю оправданность, становится лишь своеобразной галантной поэтической игрой. Это — игра чувствами, образами, ритмами. «Голая» страсть уступает место головокружительным восхвалениям, подлинный трагизм — мастерски разыгранной мелодраме.

В поэзии Давида Гурамишвили неизмеримо острее, нежели в творчестве других поэтов его эпохи, ощущается живая, неординарная личность со своими живыми неординарными переживаниями. Она пронизана особой устремленностью к интимным мирам реального человека.

Духовная близость грузинских романтиков с поэтическим миром Гурамишвили берет начало в настрое, который особенно остро ощущается в строках:

Плоть — лишь грязь земная,
Истоптанная ногою бытия,
Душа же, свободная от плоти,
Бессмертна...

Хотя в творчестве самого Д. Гурамишвили ощущается и другая стихия любви, теплым дыханием которой овеяны многие его произведения.



Не случайно, в частности, автор «Зубовки» так естественно воспроизводит земной облик своего божественного вдохновения («ту, что откроет ему врата в вечный мир»), что современный читатель и не сомневается, что кроме прекрасной внешности украинской красавицы и страсти, вспыхнувшей в поэте при виде нее («у чернобровой красавицы на белом лице чернела родинка»), здесь можно подразумевать какую-либо трансцендентальную идею.

В XIX веке тема любви в грузинской поэзии претерпевает весьма значительную эволюцию.

Первым маяком на этом пути эволюции можно назвать Александра Чавчавадзе. В отличие от Руставели в лирике Ал. Чавчавадзе это чувство осмыслено прежде всего как источник земного сладострастия.

Не пылайте любовью к розе, лишь созерцая ее...

Приблизьтесь, сердцем прикоснитесь

И испытайте сладость любви.

Любовь для Ал. Чавчавадзе, в какой бы эмоциональной тональности ни воспевал он ее, это — простое, обычное чувство, равно доступное и понятное каждому человеку. Ему неизвестно ощущение того необычайного душевного порыва, которое вложило в уста его младшего современника Николоза Бараташвили следующие слова:

Язык простого смертного

Бессилен высказать чувства бессмертных.

Григол Орбелиани в этом смысле приближается к новому рубежу «чувственности». Именно он первым из поэтов прошлого столетия приблизительно тогда, когда писалось тютчевское «Silentium!», с не меньшей остротой выразил в своем «Прощании» романтическую неудовлетворенность словом как средством выражения интимных переживаний человека, ибо истинная любовь не находит слов для самовыражения, и потому вздыхает и молчит...

Творчество Григола Орбелиани отмечено печатью определенных противоречий. Любовная тема пронизана внутренним, скрытым конфликтом между сенсуализмом и новым романтическим представлением о любви.

Но подлинное обновление грузинской любовной лирики связано с именем Николоза Бараташвили.

блага, универсального добра и, стало быть, она обретает деятельный и животворный характер.



Я бы хотел быть солнцем, чтоб лучи мои сопровождали
день,

Ночью покинуть небо, чтоб оживить утро,
Хочу быть звездой, предвосхищающей рассвет,
Чтоб появления моего ждали птицы и розы...

Любовная лирика Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели открыла новую страницу в грузинской поэзии XIX века. Особенно характерно в этом смысле раннее стихотворение И. Чавчавадзе «Черным глазам» (1858 г.). Главное для поэта — внешность женщины, однако метафористика стиха не имеет ничего общего с «восточным» дифирамбным стилем. Глаза возлюбленной сравниваются с «бездной», «с бушующим морем», поэт видит в них «свободу орла». Это для поэта органичный, продиктованный независимыми ассоциациями образ.

Формально в своем раннем стихотворении «Тогда я испытал сладость рая» И. Чавчавадзе очень близок к лирике Н. Бараташвили — «робостью девушек», «стыдливостью», «молитвой», «мягкосердечием» и т. п. Однако главное в этом лирическом произведении — не сугубо романтический настрой, не ведающий земных страстей, а пылкая юношеская любовь, сдерживаемая рыцарским почтением к возлюбленной:

Томимый страстью, но почитая тебя,
Я не смею жаждать твоего поцелуя.

Илья Чавчавадзе был духовно гармоничной личностью, и хотя он до конца своей жизни оставался человеком верующим и не раз проявлял свою приверженность к этическим идеалам христианства, — в его интимной лирике в отличие от Бараташвили мгновенное и вечное, земное и духовное не являлись понятиями полярными.

В ранних стихах Акакия Церетели «Тайная записка», «Любовь», «Кроткая любовь», «Имеретинский стих», «Мухамбази» любовь разбавлена легкой грустью, болью неразделенной любви и чувством примирения с этой болью. Продолленно драматические мотивы появились в его лирике сравнительно позднее.

Интересно в этом смысле стихотворение «Пока я был молод» — лирическое повествование о неизлечимой боли, о жаж-

де человеческого тепла, внимания, ласки, о мучительном чувстве одиночества. И как ни странно, строки эти принадлежат не безвестному, скитающемуся вдали от родины поэту, но поэту, которого боготворила вся Грузия.

В прошлом столетии национальная концепция любви окончательно кристаллизуется в творчестве Важа Пшавела, для которого любовь — субстантивная черта всего универсума, или же та скрытая закономерность вселенной, которую должны постичь «прозревшие глаза» человека и уверовать в нее. Именно в этом кроется ключ к трагической мудрости Миндия и именно здесь истоки его новой жизни, сверхчувственности, сверхжизни. Миндия терпит поражение в столкновении с обыденностью, с жизнью без любви и без чудес, но он уже знает, что универсальная всеобщая любовь продиктована самой природой, ибо в основе самого объективного существования человека заложено зерно чуда — возможность невозможного. Вся судьба Змееда не что иное, как героическая, отчаянная борьба за освобождение этой чудодейственной силы от бездушия и невежества.

Вот так, примерно такими путями дошла до нашего столетия трактовка любви, у которой и в новую эпоху нашлись свои певцы.

Ставшие уже классическими образцы интимной лирики XX века с сегодняшних позиций являют собой скорее сложные антитезы, нежели часть одной системы.

Так, Галактион Табидзе (в лучших своих произведениях) противопоставляет эротике стихов Иосифа Гришашвили, «состязается» с Паоло Яшвили близкий ему по духу Тициан Табидзе.

Юношеский «ныл» в стихах Георгия Леонидзе противопоставляет «обузданной любви» в поэзии Симона Чиковани.

Новым качеством пополнилась тема любви в творчестве Ладо Асатиани, Мирзы Геловани и Александра Саджая. Судьба каждого из них — подтверждение высокого традиционного назначения любви.

Как мне не хочется, как мне не хочется,
Но все-таки я ухожу, я покидаю тебя...

Слова эти исторгнуты из души целого поколения, поколения, оставшегося «вечно молодым».



В поэзии XX века больше всего красок (вернее, оттенков) любви мы находим в лирике Галактиона. Ни один грузинский поэт после Н. Бараташвили не передавал столь тропетно изменчивость интимных переживаний, неосязаемые их нюансы. Но главное все-таки в другом: любовь в лирике Галактиона не просто одно из высочайших свойств человеческой души, не просто одна из сторон внутренней жизни человека, но главное, основное средство взаимосвязи с миром и эстетического познания его, красугольный камень всего сущего («Без любви на этом свете и ветер не вест»). И в то же время любовь — это целая поэтическая галактика со множеством созвездий, планет, «туманностей».

И так из века в век, из поколения в поколение передавалось свое, национальное осмысление этого вечного чувства — Любви.

Руставели, Гурамишвили, Бесици, Бараташвили, Важа, Галактион — каждый второй в определенном смысле отрицал первого, третий — второго и так далее. Но все-таки что же объединяет их в едином национальном контексте?

В грузинской поэзии величайшая форма любви — любовь трагическая, вызванная сознанием того, что страждущая душа никогда не обретет покоя, что любовь как жажда абсолютного счастья неисполнима, что чувство это по своей природе роковым образом связано с неосуществимостью, ибо счастье в полном понимании этого слова — недостижимая мечта.

Грузинскому духу ведомо все это, он осознает благо, дарованное ему именно в этот отрезок времени, но именно за пределами этого ощущения начинается то, что заключает в себе суть постоянных поисков, самоотверженной схватки, трагической борьбы.

Именно в силу того, что любовь относится к ряду самых невозможных невозможностей, именно в силу этой истины грузинский дух с особой самоотверженностью, вдохновением, самозабвением ищет ее смывые следы, ибо в постижении невозможного, с точки зрения обыденности и практичности, видится грузинскому духу смысл и цель жизни.

Ярче и острее всего это стремление проявилось в лирике Н. Бараташвили. Однако было бы великой ошибкой объяснять подобное стремление главным образом присущей грузинскому характеру идеализацией жизни, ибо грузинский характер наделен и другими, более значительными, чертами.

Под толстым слоем тьмы и неверия грузинскому духу всегда виделись неисследованные месторождения счастья, любви и красоты. В этом смысле все пики грузинского искусства находятся на одном горном хребте.

Любовь — первопричина поэзии. Человечеству это известно с колыбели. И пока народ способен любить, способен выразить это чувство в поэзии, ему не суждено стареть.

Все в этом подлунном мире дряхлеет и пылью и щеплом возвращается в недра вечности.

Время обрушило тысячи вавилонских башен.

Голоса тысяч гордцов затерялись в молчании безмолвных пустынь.

Пустуют сады Семирамиды...

Кто знает, сколько страстных и тщеславных искателей тщетного счастья и славы были обречены на гибель!.

Но в один прекрасный день сквозь могильный камень пробьются нежные ростки граната и из векового холода саркофага вновь просочится слабый, беспомощный и неумирающий голос:

— Дзевах, жизнь моя!

ДРУЖЕСКИЙ ТРИПТИХ

ЛЮДИ, среди которых я рос, всегда с уважением проносили имена Бальмонта, Пастернака, Тихонова, Антокольского, Заболоцкого.

Пройдет время, и наши дети с таким же уважением будут повторять имена Александра Межирова, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной.

Они это заслужили.

Я познакомился с Межировым в 1946 году в Сагурамо. В те годы там находился Дом творчества писателей. Мы провели вместе два лета.

Первое впечатление: уверовал в то, что настоящий поэт должен быть именно таким, как он, должен так выглядеть, так вести себя, так говорить. Казалось, он оторван от всего земного и существует лишь благодаря Поэзии.

Межиров знал наизусть всю русскую поэзию — и классическую, и современную. Но с особым волнением и удивительной экспрессией читал он «На Куликовом поле» Блока.

Я и сейчас слышу, как он произносит: «Останови!» и вижу его горящие глаза. Словом, тогда Межиров в моем представлении был воплощением чистой поэзии.

Впоследствии я заметил, что это удивительно азартная личность. Среди его многочисленных увлечений не последнее место занимали машины и мотоциклы. Лично у меня как у верного слушателя его еще не написанного полуфантастического рассказа не остается ни тени сомнения в том, что в юности он участвовал в цирковом мотоаттракционе.

У меня был шанс подружиться с ним, и я очень жалею о том, что этого не произошло.

В 1948 году мы встретились в Москве на Пушкинской площади. Он был со своими друзьями — русскими поэтами, я — со своими однокурсниками, грузинскими студентами.

Он сердечно попросил меня: «Заходи к нам, не пропадай, все наши тебя очень любят, уверяю, тебе не будет скучно с моими друзьями».

Я почему-то ответил довольно нахально: «Не получится у нас с тобой дружбы. Мне это в тягость будет, да и тебе ни к чему».

Он окинул меня удивленным взглядом. За все время моей учебы в Москве мы почти не виделись.

Сейчас я понимаю, что благодаря собственной робости, скрытой под маской бахвальства, я очень многого лишился. Межиров на редкость умный, исключительно образованный человек, наделенный безошибочным вкусом и владеющий тайнами литературного мастерства, — словом, общение с ним принесло бы много пользы посланному набираться ума-разума в столицу молодому человеку.

Для Межирова самое значительное слово — «Поэт», самое большое счастье — «Поэзия». Он с мистическим трепетом переживает успехи своих собратьев по перу.

Помню, в 1960 году мы были в гостях у Симона Чиквани. Весь вечер разговор шел об одном поэте, с которым произошла большая неприятность. Все, в особенности женщины, в той или иной форме выражали ему сочувствие. Межиров не проронил ни слова. Это не осталось незамеченным. Ушли мы уже глубокой ночью. Межиров шел чуть впереди меня и шептал что-то себе под нос. Я поравнялся с ним и явственно расслышал:

— Какой счастливый человек! Какой счастливый...

Вдруг он обернулся, посмотрел на меня горящим взором и еще раз повторил:

— Какой счастливый человек!

Я особенно любил его книгу «Поздние стихи». Она почти что год пролежала у моего изголовья. На книге короткая надпись: «Дорогому Гураму — на память о ранних встречах и поздних стихах. Дружески и сердечно А. Межиров».

Самое сильное впечатление произвело на меня «Одиночество». Думается, именно в этом стихотворении надо искать ключ к его творчеству.

Одиночество гонит меня
От порога к порогу...

В моем представлении автор этого стихотворения — очень одинокий человек. Но это болезненное состояние не подавляет его, а напротив, гонит к людям, заставляет действовать, искать новые пути и новых друзей.

Возможно, это относится только лишь к его поэтическому alter ego. Во всяком случае, это искреннее состояние, а не поза.

Думаю, что именно это и привело Межирова в Грузию.

В его лице мы приобрели друга. Не только нужного, но и своеобразного, неповторимого, незаменимого.

Межиров ко всему в поэзии, и вообще в литературе, относится с крайней серьезностью и добросовестностью, он не любит громких фраз, дешевых парадоксов и поверхностных суждений.

И к грузинской поэзии он относится крайне серьезно и вдумчиво.

Редко можно встретить поэта, к которому с таким уважением относились бы в самых различных кругах.

В этом решающую роль играет не только его биография (Межиров — участник войны).

Межиров знает цену своему слову. Это его большое достоинство. Но отсюда проистекает и его обидная «скупость». Я уверен, что пишет он постоянно. И не могу представить себе иного Межирова. Труд для него — обязательная форма существования. Помню, однажды он сказал мне:

— Знай, учась в МГУ, тебе придется потрудиться. Что бы ни приключилось с тобой днем или вечером, ночь все равно придется провести за книжками с мокрым полотенцем на голове.

Никогда не забуду, как работали в Сагурамо Межиров

и Заболоцкий. Они по целым неделям не выходили из комнаты. На грузинских коллег это производило сильнейшее впечатление.

Случалось, что над ними и подшучивали, но довольно вяло. Я верю, что Межиров и этой ночью работает, пишет что-то новое, «межировское» — ведь он никогда не встретит весну с пустыми руками.

Одиночество гонит меня
От порога к порогу —
В яркий сумрак огня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.

Эти товарищи знают цену его словам и с особенным нетерпением ждут его стихов. У Александра Межинова есть в этом мире много настоящих товарищей. И в Грузии ему не грозит одиночество...

В конце прошлого года¹ в Тбилиси вышел сборник стихов Беллы Ахмадулиной «Сны о Грузии», объемом превышающий все ее предыдущие книги вместе взятые. В этом году у нас же будет издана «грузинская антология» Евгения Евтушенко (опекуном и редактором обеих книг является Гия Маргвелашвили).

Не прошло и года с того дня, как Белла Ахмадулина в переполненном зале Филармонии читала свое старое, полное страшных предчувствий стихотворение, посвященное Евгению Евтушенко, который в это время лежал в палате тбилисской инфекционной больницы с низким содержанием гемоглобина в крови.

К счастью, все кончилось благополучно.

Два поэта почти диаметрально противоположной природы словно бы дополняют друг друга. Их невозможно представить каждого в отдельности, их образы лишаются некоей существенной и неповторимой черты.

Я хочу поделиться с читателем мыслями, возникшими у меня в итоге долгого общения с ними. И вообще мне кажется, что сейчас нам следует больше писать не о поэзии, а о поэтах. О собственно поэзии, о том, что уже нашло воплоще-

¹ Речь идет о 1978 г.

ние в слове, могут написать и будущие критики. А от современников ждут чего-то иного.

Женское начало с незапамятных времен связано с плодородием, теплотой, заботой. В мужчине основное — разум, стоицизм, твердость.

Не случайно, что в грузинской мифологии женщина (мать) олицетворяет дневное светило, а мужчина (отец) — ночное.

В нашем случае «начала» резко меняются местами.

Евтушенко — один из самых плодовитых поэтов нашего времени. Он всегда кем-то или чем-то озабочен. «Заботливость» — основная черта его характера. Он одновременно щедр и жаден. Самое трудное для него (в процессе творчества) — это поставить точку. Отзывчивость, неустанный влечение к людям, талант сочувствия, постоянная готовность привлечь к своей груди и согреть своим теплом все сущее — таков его поэтический облик.

Белла — напротив: крайне строга в своем выборе. Как поэт она решительно отвергает временные увлечения, ее мир замкнут и абсолютно суверенен. Она не спешит на помощь — она призывает к себе и покоряет. Она не прислушивается настороженно к окружающим звукам, она настроивает на то, чтобы прислушались к ней самой. Она стоически верна своей поэтической позиции и требует от читателя такого же мужества.

Мы могли бы развивать и дальше эту поэтическую альтернативу, но лучше обратиться к фактам.

Я познакомился с Евгением Евтушенко в Москве зимой 1958 года. Он был невероятно худ и казался еще худее в своей огромной «боярской» шубе.

Нас познакомили грузинские писатели, которых я в ту пору называл «дядями», — дядя Симон, дядя Карло, дядя Акакий¹.

А Евтушенко, который моложе меня, держался с ними на равных. И они отвечали ему тем же.

Между прочим, Евтушенко в тот вечер помог преодолеть мне возрастной барьер, и это получилось у него так же легко, как и многие гораздо более сложные дела, за которые он принимался.

Было уже далеко за полночь, когда он после горячего спора с Межировым настоятельно спросил Симона Чикова-

¹ Симон Чиковани, Карло Каладзе, Акакий Белиашвили.



ви, Межирова и меня отправиться к незнакомому нам тогда еще художнику Юрию Васильеву. Мы поехали на синем межировском «Москвиче». Мне хорошо запомнился старый, ревящий дом в Замоскворечье (в передней на стене висел старый, довоенного образца, велосипед). Нас встретили с радостью и сразу же провели в «мастерскую» — в маленькую, забитую картинами комнату.

Евтушенко вошел первым, включил свет, встал посреди комнаты, пристально смотря на нас, обеими руками указал на самую большую, еще не высохшую картину и шепотом заговорщически спросил:

— Вот она! Ну как, стоило?!

На полотне был изображен знаменитый дворянин из Ламанчи, рыцарь печального образа, не имеющий ничего общего с моим представлением об этом герое и, как две капли воды, похожий на стоящего перед ним длиннорукого поэта. Верхом на Россинанте Дон Кихот спускался с высокой лестницы, висящей в воздухе и внезапно обрывающейся. Внизу художник изобразил страшные дебри, еще шаг, и всадник со своей клячей сорвется в пропасть.

Все молча рассматривали картину, только Симон от души смеялся. (Он смеялся так тогда, когда чему-то радовался).

Женя долго еще стоял с протянутыми руками, не сводя с нас глаз... В этом жесте был весь Евтушенко, с его непреклонным стремлением сопереживания и любопытством: какой эффект произвело на зрителя его «открытие»?

С той ночи прошло уже двадцать лет, но при мысли о Евтушенко мне всегда вспоминается изображенный художником рыцарь.

Евтушенко постоянно заставлял людей моего поколения спорить о себе.

Я не исключение. Я даже писал ему письма, но ни разу так и не отослал. (Наверно, потому, что никогда точно не знал, где он находится в это время).

Есть немало глубоко уважаемых мною людей, которые упорно не хотят видеть в нем истинного, серьезного поэта. Других возмущают отнюдь не респектабельные его манеры, третьи просто-напросто улыбаются при упоминании его имени.

Я часто спорил с этими людьми и хочу сейчас поделиться одним соображением, которое очень помогло мне в этих спорах.

Поэты по-разному ведут себя в жизни. И мы должны относиться к этому как можно более чутко.

Смешон не тот человек, который своим поведением может вызвать улыбку, а тот, кто как огня боится выглядеть смешным. Такой человек может насмехаться и издеваться над кем угодно (подчас довольно остроумно), но не дай бог, чтобы объектом смеха стала его собственная персона! Он расценивает это как ужасное и непростительное надругательство...

Я люблю Евтушенко за то, что он никогда не боялся этого смеха. Быть может, он знает заранее, какую незавидную реакцию вызовет его поступок, и все же не изменит себе, не поддастся здравому смыслу, ибо он по своей природе рыцарь и, следовательно, и Дон Кихот (а может, наоборот — Дон Кихот и, следовательно, рыцарь).

Более того: Евтушенко умудряется в одно и то же время быть и Дон Кихотом, и Сервантесом. А это редкое качество, присущее лишь поэтам его темперамента. У них чрезвычайно развит талант воображения. Они выдумывают не только неожиданные рифмы, странные образы, непривычные словосочетания, но в какой-то степени и самих себя.

Правда, в одной частной беседе он с сожалением признался: «Я поэт сугубо документальный. У меня совершенно нет фантазии».

Но я думаю, что и это его очередная выдумка.

Некоторые не понимают, в чем своеобразие таланта и характера Евтушенко. Они не хотят понимать, почему он не боится иронии. А большая половина его почитателей замечает лишь второстепенные детали его поведения и строит по ним свое представление о поэте. Так им почему-то удобнее.

О Евтушенко было напечатано немало хвалебных статей. Но в целом внимание критики к Евтушенко обратно пропорционально той популярности, которую он приобрел среди самого широкого круга читателей (да и слушателей).

Стихи Евтушенко сегодня читают во всем мире, внимательно следят за его творчеством.

Помню, каким недоверчивым взглядом окинула меня филиппинская студентка, услышав утвердительный ответ на вопрос, знаком ли я лично с Евтушенко. Для некоторых критиков он по сей день остается «самоуверенным парнем». Часто можно услышать о кризисе его творчества. Многие не

заметили его роста, упустили из виду, что на протяжении всего этого времени он не только «шумел», «красовался», «мутил воду» и т. д., но и упорно работал.



Многие его произведения до сих пор не оценены по достоинству. И в первую очередь — «Казанский университет». Я верю в то, что читатели и критики не раз еще вернутся к этой поэме, ибо в современной русской поэзии по пальцам можно пересчитать столь смелые, честные и правдивые произведения.

На рубеже 50—60-х годов Евушенко со всей ясностью и четкостью выразил чаяния и стремления жаждущего больших и настоящих дел молодого поколения.

Он и по сей день остается «молодежным» поэтом, потому что, несмотря на целый ряд внутренних противоречий, по своему душевному складу принадлежит к лагерю неисправимых оптимистов.

Для Евушенко не существует непреодолимых препятствий, неизлечимых болезней, неотвратимых бед. Он в глубине души убежден, что всех невзгод можно избежать, если этого захотят «парни всей Земли».

Каждая встреча с этим на редкость живым, жизнестойким, сбуйанным непрестанным стремлением самоутверждения, вечно играющим с огнем, вечно вытворяющим что-то из ряда вон выходящее, сорокапятилетним человеком вызывает во мне необычайное воодушевление. Евушенко не оставляет равнодушным, даже если с ним не соглашаешься. В его обществе физически невозможно расслабиться.

Томас Манн с сожалением писал об «элементе Шиллера», которого, по его словам, больше всего недоставало Германии XX века.

Еще несколько слов.

Болезни со всей очевидностью не входят в его «репертуар». Я дважды видел его больным.

Впервые в Москве, в 1959 году. У него был насморк. С трагической интонацией он сообщил: «Тяжко мне, брат, тяжело». Во второй раз — в прошлом году, в тбилисской инфекционной больнице. Я хорошо знаю, что значит «содержание гемоглобина в крови равняется 28». С тяжелым сердцем вошел я в палату. Дежурный врач предупредил — ему ни в коем случае нельзя ни говорить, ни шевелиться. Но Евушенко не позволил нам и рта раскрыть. Не то что мне, даже

Чабуа Амиреджиби не удавалось вставить слово. Как всегда, началось представление театра одного актера. Наше участие в беседе ограничивалось лишь молчаливыми кивками. Кто знает, каких только материй ни касался в тот вечер Евтушенко, но не проронил ни слова по поводу своей болезни. Словно ее и не существовало.

В своей жизни мне приходилось сталкиваться с самыми разнообразными больными. Но одно у них общее: в конечном итоге они всегда говорят о своих болезнях. И глаза у них одинаковые, словно высматривающие что-то исподтишка.

Такого больного, как Евтушенко, мне видеть не приходилось. И что главное, его поведение ничуть не походило на игру. Он искренне не мог заострить внимание на «главной теме». «Ну как ты? — Ничего». Вот и все. И больше ни слова. Он не обратил ни малейшего внимания на наши представления. А о том, чтобы как-то избежать жестикуляции, не могло быть и речи. Между прочим, до этого мне не доводилось слушать его так долго, и должен признаться, что в тот день я убедился, что этот человек читает во всяком случае все, что пишется сегодня на русском языке. Читает, запоминает до мельчайших подробностей и составляет собственное, отличное от всех остальных, мнение. Признаться, я не знаю другого такого поэта.

Уходя, мы поинтересовались, не нужно ли ему что-нибудь. Он попросил нас принести радиоприемник. На следующий день у его изголовья стояло восемь приемников. Два японских, остальные американские. (Само собой разумеется, я не стал выставлять свою «Ригу»).

Характер у Евтушенко довольно мягкий и доверчивый.

Если ты не значишься у него в «программе», он может вовсе тебя не заметить. Но неожиданно может высказать о тебе настолько точное суждение, что остается лишь развести руками: когда это он успел так внимательно приглядеться к тебе, как сумел найти время для столь скрупулезного анализа. Правда, он нередко ошибается (любит и помистифицировать). Это одно из проявлений его природного таланта. Евтушенко — человек на редкость, я бы сказал даже, чрезмерно талантливый. Талант порой даже мешает ему. Он с такой легкостью решает некоторые вопросы, что невольно упускает из виду «сопротивление материала». А без этого яростного

противоборства и болезненного акта его преодоления искусство теряет свою силу и самобытность.

А в общем, как я уже отмечал, по своему образу жизни он труженик. Это нужно подчеркнуть, потому что благодаря своему внешнему виду (в частности манере одеваться) он оставляет порой диаметрально противоположное впечатление.

С Беллой Ахмадулиной я познакомился позднее. Если не ошибаюсь, весной 1962 года. Ее ко мне привели молодые (в ту пору самые молодые) грузинские поэты. Мы уселись за сымпровизированный стол, и в нашей квартире вдруг воцарилось какое-то праздничное настроение. Все встрепенулось, заблестело, засверкало. Белла была худа, как ребенок. Ее голос вселял в слушателей некую неосознанную радость и в то же время вызывал странное сопереживание и сочувствие.

Слушаешь ее и кажется, что все в мире, подобно ее звонкому голосу, хочет возвыситься, расправить крылья.

Позже, когда я прочитал строки Марины Цветаевой:

Имя твое — птица в руках.

Ключевой, ледяной, голубой глоток...

мне стало понятнее чувство, испытанное при звуке ее голоса.

Не плачьте обо мне, я проживу! —

убеждал нас голос, и, казалось, благодаря этому обнадеживающему обещанию тяжелый камень скатывался с сердца, а крокодиловые слезы, уже в те годы щедро лившиеся во-круг ее имени, тотчас теряли свою зловещую силу.

Как раз в то время вышла первая книга её стихов «Струна», которая начиналась словами:

Светофоры и я перед ними...

Сколько перекрестков пройдено ею с тех пор! Подчас думалось, что ей изменят силы. Но влед обидному спаду приходила весна, и вновь:

Отдаю себя на съедение

Этой скорости впереди!

Стихи Беллы Ахмадулиной рассчитаны на узкий, интимный круг слушателей, но к ее голосу сегодня прислуши-

вается множество людей. У поэтов подобного духовного склада редко бывает так много почитателей. Поэт повергает нам свою жизнь, свои чувства, ему одному доступные асептично делится воспоминаниями, смутными предчувствиями, а у каждого сидящего в зале возникает ощущение, что все это происходило с ним самим, им пережито и им прочувствовано.

Я заметил, что стихи Беллы производят впечатление даже на тех, кто их не понимает. В этом, наверное, немалую роль играют «исполнение», внешность, тембр голоса, интонация, но, кроме всего прочего, в ее словах заключена какая-то магическая сила. А сила эта, конечно же, проистекает от их смысла.

Белла всегда справедлива и безжалостна и к своим стихам, и к своим читателям. Она понимает, что ее аудитория выросла и что каждое ее слово воспринимается все большим кругом людей.

Нет! Она не изменила себе, пытаясь угодить чьим бы то ни было вкусам. Она просто почувствовала, что ее поэтическая судьба в определенный момент вышла из рамок личной жизни, еще сильнее ощутила ответственность перед миллионами читателей и поняла, что ее личная жизнь служит многим в определенной степени примером.

И если Евтушенко — этот поэт вечного сопереживания и сочувствия — мечтает:


Одного мне ужасно хочется,
Написать такое, такое,
Чтобы стало тепло кому холодно,
Будто тронула мама рукою,

то Ахмадулина не высказывает теплоты по отношению к своим читателям, она преподает им урок искренности. Она пишет для тех, кто ждет от поэта не сладких речей, а желает видеть в нем пример стойкости:

Не дай мне бог бесстыдства пред листом бумаги,
Беззащитной предо мною, —

такова ее первая заповедь.

Евтушенко — сын своего времени. Возможно, «блудный сын», не похожий на других, но родной.


Белла — ребенок, подкинутый нам Вечностью. Наверное, поэтому она неустанно напоминает нам о главном, непереходящем, бесконечном... 

Я, конечно же, сгустил контрастные тона. У них много и общего — они одинаково любят свою Родину, родной народ, родной язык.

Оба они щедры (как в узком, так и в широком смысле этого слова).

Несмотря на разные характеры, они одинаково любят друг друга. И, что немаловажно, искренне любят Грузию, более того, их привлекает именно то, что дорого в Грузии нам, ее исконным жителям.

Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко успели уже достаточно много сделать для грузинской культуры и грузинской поэзии. Все это (я имею в виду в особенности их переводы) они делали с душой, с истинным вдохновением, на уровне лучших своих оригинальных стихов.



КТО ПЛАЧЕТ В НОЧИ?..

ОСНОВНУЮ часть небольшой по объему книги тбилисского писателя Вильяма Хацкевича составляют повести. Их две. И хотя они глубоко различны по выбранному материалу, особенно при беглом прочтении, в них в действительности есть то общее, что позволяет говорить и об оригинальном авторском взгляде, и о художественных особенностях стиля писателя.

Если попытаться классифицировать эти произведения, то скорее всего их можно будет отнести к достаточно распространенному сегодня среди городских повестей типу повести без героя.

«Романтическое деление на черное и белое давно осмеяно и предано забвению. И поделом!.. Человек велик тем, что сложен!.. Он очень разный, человек, он многогранный, отразим же его во всей сложности и полноте!» — Как часто тайно или явно такие или подобные реплики звучат в писательских выступлениях или в контексте произведений. Но как часто с водой выплескивается дитя, и отказ от гротескных противопоставлений, от однозначных оценок заключает в себе всего-навсего отсутствие авторской позиции. У современной городской про-

зы — вялые мускулы. И, верно, оттого — много лукавства, причем нередко не различить, кто более лукавит: герой или автор... Только подумал об этом и словно услышал чей-то вздох: «Слишком много математики»... Что это, сожаление или утверждение? Может быть, это заключительная строка исследования? Ничуть не бывало. Так названа одна из повестей нашей книги.

«Слишком много математики». Вполне объяснимое название, если учесть, что Вильям Хацкевич — кандидат технических наук. Однако вовсе не профессиональные проблемы коллег, специалистов в области прикладной математики находятся в центре повествования; производственная тематика здесь затушевана, хотя форма соблюдена: действие повести начинается и кончается в период очередного симпозиума, ироническая оценка которого проявляется в поступках и репликах каждого персонажа. Кстати, об иронии самого писателя можно было бы говорить отдельно: от сарказма до сострадательной улыбки — таков ее диапазон. Хотя, конечно, поступки и размышления действующих лиц чаще всего освещает грустная улыбка автора.

Итак, действие повести совпадает по времени с проведением симпозиума, но если быть абсолютно точным, начинается и кончается оно на пороге столичной гостиницы. «Столичной» — уточнение необходимое. В жизни персона-

В. Х. Хацкевич. «Дорога в Уч-Дере», «Мерани», 1984.

жей повести она — магический кристалл. Ни профессор Марат Григорьевич, ни его ученик, аспирант Саша не подозревают, что жизнь каждого из них, как голограмма, запечатлевается в этих, казалось бы, чужих, случайных в их судьбе стенах. Марат Григорьевич вряд ли замечает, как легко текут в этих стенах его воспоминания, Саша не отдает себе отчета в том, что именно здесь совершаются с ним те счастливые приключения, из которых в свой черед обязательно будут выстроены картины памяти. Повесть без героя?.. Да, несомненно — это повесть без героя. Эта особенность как бы даже подчеркивается автором. Марат Григорьевич скептически относится к «светилу» местного значения, доктору наук Бублику. Аспирант Саша скептически относится к обоим патронам, но склоняется к последнему, вычисляя, что он «перспективнее». Девушка в гостинице, проявляя благосклонность к Саше, тоже не полагает его героем. Саша, свысока относясь к Марату Григорьевичу, не подозревает, что, в сущности, идет по жизни его путем и тоже не годится в победители. И он не подозревает, что, подобно тому, как в его жизни после этих дней возникнет девушка из гостиницы, так и у Марата Григорьевича была девушка из кафе... И только поэта, старого поэта никогда не будет в жизни Саши. Не будет потому, что Марат (теперь уже — Григорьевич) когда-то прошел в жизни мимо этого человека, не остановился, не взгляделся в него, не выслушал, не принял от него духовной эстафеты. Пока был молод, не чувствовал этой по-

тери. А когда возмужал и захотел закрыть эту пустоту, так уж поздно было — и могилы того человека не нашел. И потому не будет поэта в жизни Саши. Впрочем, я, должно быть, сгустил краски.

И все же во мне остается мысль о том, что в жизни Саши не будет старого поэта, потому что честный и мягкий Марат Григорьевич, быть может, слишком мягкий Марат Григорьевич, однажды в юности упустил нить времени, и я, читатель, вдруг начинаю чувствовать свои оплошности, начинаю испытывать тревожное чувство вины перед грядущими людьми. Дыхание истории, скрытые обратные связи, без которых неосуществима преемственность духовных основ, — вот подтекст небольшой повести, которая началась и кончилась на пороге гостиницы.

В повести «Дорога в Уч-Дере», которая и дала название книге, акценты расставлены как бы самой историей. И герой воображаемый, давно исчезнувший Берзайк гораздо более материален в своих проявлениях, чем реальный персонаж, наш современник, отдыхающий в знаменитом курортном городе. Но так случилось, что этот ныне существующий человек родился здесь, и с детства сохранилось в нем острое чувство сопричастности трагической тайне другого народа, столетие назад ушедшего с этой земли. «Кто плачет в ночи?..» Этот вопрос, однажды услышанный им в детстве от старика-соседа, мучит его и теперь, спустя много лет. Имя «Берзайк» выплывает в повести случайно: его произносит одна из работниц местного краеведческого музея.

Но однажды возникнув, имя это почти тотчас обретает плоть, и повесть с этого момента продолжает течь как бы двумя параллельными руслами. Они живут рядом, эти двое мужчин. Они ходят по одной земле. Но для одного из них это время — всего только дни в городе детства, а для другого в нем заключена вся жизнь, все возрасты его самого и все судьбы его близких. Берзайк — олицетворение эпоса этой земли. Ведь у каждой земли есть свой эпос, и слагается он только однажды. Народы приходят и уходят, и, уходя, прячут могилы предков и засыпают источники. Но кто-то плачет в ночи, и кто-то из вновь пришедших обязательно слышит этот плач, и он мучит его... Как знать, будь наш современник, персонаж повести, более прочно связан с этой землей, сжившись он с нею, другая музыка звучала бы в его душе. Но он — житель города, житель города вообще, современный человек, и потому между ним и землей есть разделительная полость, более внушительная и непреодолимая, чем асфальт. Потому, что здесь, как говорится, распалась дней связующая нить, и он, вовсе не помышляя об этом, стал вдруг владельцем одного из обрывков этой невидимой нити. Куда бы ни приходил он в эти дни, всюду земля напоминала ему об ином, неведомом, исчезнувшем народе. Почему земля? Да потому, что драматические события, происшедшие здесь всего столетие назад, не оставили никаких материальных следов. В краеведческом музее всего одна туфелька, которая (забавная деталь) никому не подходит.

Почти как в сказке ^{Перро}. Но Золушки нет и уже никогда не будет. А земля помнит. Земля невозмутимо хранит имена, данные ее горам и равнинам ушедшим народам. И еще земля хранит старые плодовые деревья. Но плоды их кислые, они тоже «не подходят»... От страницы к странице нас утомляет шумный город. Насыщенные жарой улиц и потом пляжа, мы все чаще ощущаем счастье — чувство встречи с другим временем на этой земле, встречи с неведомым Берзайком, который от страницы к странице становится все более притягателен. Почему? Наверное потому, что стоит на земле — связан с нею внутренним родством куда прочнее, чем мы сами. «А жили они, — это ты запомни, в этом секрета нету, — там, где маяк сейчас, по-над обрывом, левее от причала. Там маяк поставили — запретное место. — Старик запинается... и добавляет: — Как было запретное, так и осталось. Сто лет как запретное». Есть в этом рассказе, поведенном нашему растерянному современнику в его юношеские годы, две тайны: тайна обыкновенная, разжигающая любопытство, и тайна высшего порядка — тайна этическая. Первую легко удовлетворить: заглянуть за забор, окружающий маяк, или, наконец, раскопать насыпь в углу стариковского сада...

Вторую тайну можно удовлетворить, только сохранив ее.

Это мучительный путь, но это счастливая мука. Именно благодаря ей наш негерой-современник становится проводником другого голоса, другого, более властного, бо-

лее цельного человеческого духа. И так ли уж невероятно, в конце концов, что случайная спутница нашего героя, как будто навек защищенная от переживаний удобной прозой чувства, с трепетным удивлением слышит сквозь сон и перестук вагонных колес никогда не слышимые и невероятные для ее слуха слова:

«Так прижмись ко мне лицом твоим, и я сохраню тебя в душе от времени и от лю-

дей... И буду хранить тебя, пока жив...»

В начале этих заметок я причислил повесть Вильяма Хавкевича к жанру повестей без героя. А вот в конце не удержался и произнес по адресу одного из персонажей это очень важное, очень принципиальное в своей первоизданности слово: герой. Не могу не попенять писателю: в этом виноват он.

Честь ему и хвала.

Владимир ЕРЕМЕНКО

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО Тбилисского университета выпустило в свет новое издание первого грузинского труда по поэтике — трактат «Поучение о сложении стихов» («Чашники») Мамуки Бараташвили, видного поэта первой половины XVIII в. Издание, приуроченное к 250-летию создания трактата (1731 г.), содержит заново установленный критический текст памятника (с приложением рукописных разночтений), русский перевод Г. Цибахашвили, краткие примечания к тексту и исследование известного стиховеда А. Г. Хинтибидзе — на грузинском и русском языках. Издание вы-

полнено на высоком научном уровне, и ценность его не вызывает сомнений.

Прежнее издание трактата (1920 г.), подготовленное поэтом Г. Леонидзе, предлагало только грузинский текст и поэтому было практически недоступно для стиховедов, не знающих грузинского языка. Настоящее издание впервые делает его предметом внимания и обсуждения разноязычных специалистов по общей и сравнительной метрике. Это очень важно не только с теоретической, но и практической точек зрения. Не секрет, что русские читатели и даже филологи плохо представляют себе ритмику грузинского стиха, не угадывают за произвольными силлабо-тоническими размерами русских переводов звучание подлинника, при самом искреннем желании разобратся в материале оказываются сбитыми с толку отголосками современных дискуссий о грузинском стихосложении, находящих отражение на русском языке. Поэтому труд-

но переоценить важность непосредственного знакомства с новым изданием первого труда по грузинской поэтике.

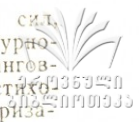
Мамука Бараташвили описывает классический грузинский стих как стих **силлабический**. После небольшой вступительной части он переходит к описанию основных размеров грузинской поэзии (канонических и неканонических) в системе понятий, свойственных именно силлабическому стихосложению. И эта система понятий не подсказана, она сложилась стихийно, диктуемая самим материалом. Это видно из того, что само слово «слог» и цифры счета слогов не фигурируют в трактате нигде. Но все основные термины, которыми пользуется Бараташвили, относятся именно к силлабической системе стиха. Эти термины — «голос» (хма), «строка» (таэпи), «колено» (мухли), «разрез» (квети), «тело» (тани), «глава» (тави) и «концы» (боло) стиха.

«Голос» — это стихотворный размер, основное понятие теории стихосложения: «шаири», «грдзел-шаири» и т. д. Примечательно, что это понятие вмещает не только ритмику стиха, но и рифму, и строфику: «шаири» — это не только строка строения (4+4/4+4) слога, но строфа, состоящая из 4 таких строк на одну рифму; если в «шаири» проявляются постоянные внутренние рифмы, то это уже «голос» «чахрухаули», а если в «грдзел-шаири» строфа состоит не из 4, а из 6 строк на одну рифму, то это уже — «голос» «мденари». Подобное нерасчлененное восприятие стихотворного размера встречается в ранней западноевропейской стихотворной культу-

ре, в античном стихе (где «алкеев», «сапфический», «аклепиадов» и прочие размеры — это не ритмы строк, а ритмы целых четверостиший) и в средневековом латинском стихе. За основу здесь принято не что иное, как наименьшая единица стихотворного текста, повторяющаяся в нем по всем структурным признакам, а таковой в строфическом тексте является не строка, а именно строфа. Античное стиховедение, делавшее различие между «акатаметрическим», «катаметрическим» и «катактическим» размерами, хорошо это понимало; в новом стиховедении (XVII — XX вв.) это различие отошло на второй план, и даже разумная попытка М. Янакиева (с его понятием «ритмемы») возродить такой подход осталась, к сожалению, безрезультатной.

«Колоно» — это единица внутреннего строения стихотворного размера — «голоса», вычленяемая «разрезами», т. е. фиксированными словоразделами-цезурами, на которые опирается ритмическое ожидание читателя и слушателя. А именно ритмическое ожидание, опирающееся на предсказуемость словоразделов, является признаком силлабического стихосложения, как ритмическое ожидание, опирающееся на предсказуемость ударений, — признаком тонического стихосложения.

Бараташвили, подбирая для «колена» каждой силлабической длины подходящую форму слова «миджнури» и повторяя ее нужное число раз, демонстрирует, каким образом из «колен», минимальных силлабических единиц, составляется строка, основная силлабическая единица. Так, «шаири» изображается схемой



«миджнуроба / миджнуроба / миджнуроба/миджнуроба», а «грдзел-шаири» схемой «миджнуртатвисган / миджнурта / миджнуртатвисган / миджнурта». Важная особенность книги Бараташвили в том, что это не только научное, но и учебное сочинение, цель которого — научить складывать стихи «на голос» традиционных размеров, поначалу руководствуясь только слухом, а лишь потом — теоретическим «умением» («Стих двояко можно сказать: одно — человек по уменню своему может сложить стихи, другое — если нет умения, то возьмет стих, и на сколько он разделится, в соответствии с этим и сложит слова... а потом и сам научится слагать стихи...»). Автор показывает, как это делается: — описав и проиллюстрировав четыре классических размера (два «шаири» и два «чакрухаули»), он берет по строчке-образцу из старых (даже безымянных) стихов четырех менее классических размеров («щекобили», «мденари», «цкobili мравалмухли» и «грдзели шаири самквети») и выделяет их схемы и сочиняет на их «голос» собственные оригинальные стихотворения. В трактате сообщается, что много новых «голосов» ввели в грузинское стихосложение Сулхан-Саба Орбелиани и царь Вахтанг VI, и приводятся стихотворения-образцы на каждый из этих «голосов», числом 21. Такие переходы от теоретической к хрестоматийной части знакомы стиховедам и по средневековым западноевропейским трактатам о поэтике.

Не остается сомнений в том, в какой историко-культурный контекст вписывается трактат Мамуки Бараташвили. Это —

обстановка консолидации сил, ведущей к новому культурному подъему при вахтанговском дворе; в области стихосложения — это инвентаризация стихотворных форм, унаследованных от прошлого, их осмысление, практическое освоение и экспериментальное расширение. Бараташвили опирается только на национальную традицию грузинского стихосложения, преимущественно — практическую, не зафиксированную письменно. Хотя заголовок и гласит, будто бы источник трактата «найден Мамукой Бараташвили в старинных сочинениях» (точнее даже: «найден... из сказанного древними», что может подразумевать и устную традицию), но из текста этого не видно, и можно согласиться с предположением А. Г. Хиттибидзе, что это лишь фиктивная ссылка для придания авторитета древности новому сочинению. Здесь нет речи ни о реформации стиха, ни о обстановке на новаторство, ни о обращении к образцам иноязычных стихосложений. Мамука знаком с персидскими стихотворцами и ссылается на их вкус к многозначности стиха, но его описание грузинского стихосложения не имеет ничего общего с арабо-персидским арузом (кроме, разве что, мнемонического приема — схем, составляемых из словоформ одного и того же эталона «миджнури»). Ни о долгих и кратких слогах (хотя бы условных, как в персидском и тюркском арузе), ни об ударных и безударных слогах в его трактате не упоминается ни словом. Грузинское стихотворение — первое его осознание — у Мамуки Бараташвили — это стихо-

сложение syllабическое, все его приметы переводимы на язык современного научного описания syllабика.

Мы подчеркиваем это потому, что в новоевропейской традиции последних пяти веков syllабическое стихосложение воспринимается как нечто неполноценное по сравнению со стихосложениями «стопного» строения — античным метрическим и современным syllабо-тоническим. Делались и делаются настоячивые попытки показать, будто бы русская syllабика XVII—XVIII вв. была вовсе не syllабикой, а скрытой syllабо-тоникой (Л. И. Тимофеев, А. П. Квятковский, Г. А. Шенгели), а вообще-де syllабика и не свойственна «духу» русского языка. Такие же тенденции к syllабо-тонической интерпретации родного syllабического стиха были и во многом остаются сильны и в грузинском стиховедении (А. К. Гацерелия), и в армянском стиховедении (М. Х. Абе-гян); это мнение, подкрепленное высоким научным авторитетом его поборников, только в сравнительно недавнее время стало пересматриваться.

Конечно, до окончательного решения вопроса о природе грузинского стиха еще далеко. Трактат Мамуки Бараташвили дает четкую теоретическую схему, степень соответствия которой реальным закономерностям грузинского стиха разных эпох должны проверять новые, опирающиеся на современные методы исследования.

К сожалению, сопроводив трактат содержательной и интересной статьей, подготовители ограничились лишь предельно скудными примечаниями к тексту. В частности,

здесь нелишним было бы дать русский перевод некоторых грузинских стиховедческих терминов, которые даются только в транслитерации (например, «самквети» значит разрезанный натрое, «мравалмухли» — многоколенный): неспециалисту такие справки очень občлегчат восприятие текста. К месту было бы и упоминание о гипотезе П. Ингороква, связывавшего названия «пистикаури» и «дзагнакорули» с именами поэтов XI—XII вв. Бистика и Дзагнакорели. Для негрузинского читателя в книге дана русская транскрипция всех приводимых в основной части трактата стихотворных цитат — это позволит ему составить собственное представление о звучании грузинского стиха. Однако это представление было бы более полным, если бы в тексте были размечены ударения грузинских слов или в комментарии даны сведения о характере и месте грузинского ударения — тогда яснее стала бы видна вторичность ритма ударений по сравнению с ритмом словоразделов (тонического принципа по сравнению с syllабическим). Некоторая непоследовательность наблюдается и в том, что большинство стихов дано в подстрочном переводе, и только отрывки из «Тамариани» — в стихотворном переложении, и естественно, менее точном. Но, разумеется, все приведенные замечания и пожелания ничуть не умаляют высоких достоинств первого перевода трактата «Чашники» на русский язык.

Михаил ГАСПАРОВ,
Дмитрий СЛИВНЯК



- ◆ ДОКУМЕНТЫ
- ◆ ПИСЬМА
- ◆ ВОСПОМИНАНИЯ

041935940
3122:010933

ИМЯ австрийского поэта, писателя и переводчика Гуго Гупперта (1902—1982) хорошо известно в Советском Союзе и за рубежом в первую очередь благодаря его работе по переводу и пропаганде литературы нашей страны. Член Коммунистической партии Австрии с 1921 года, он был вынужден эмигрировать со своей родины и приехал в 20-е годы в Москву. Учился в Институте красной профессуры, работал в Институте Маркса—Энгельса — Ленина, затем в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

В 1928 году Гуго Гупперт познакомился с В. В. Маяковским. Стихи и личность поэта произвели на него огромное впечатление. И с тех пор одной из главных жизненных целей Гупперта становятся перевод и пропаганда произведений великого советского поэта среди немецкоязычных читателей. Он выпускает несколько изданий своих переводов Маяковского, сборники воспоминаний и литературно-критических статей о нем. Итогом многолетней переводческой деятельности Гуго Гупперта стало пятитомное Собрание сочинений В. Маяковского, выпущенное под редакцией Леонгарда Кошута в 1966—1973 гг. издательством «Фольк унд Вельт» (ГДР), — наиболее полное на сегодня иноязычное издание произведений поэта.

Перу Гуго Гупперта принадлежат также многочисленные переводы на немецкий язык стихов русских и советских поэтов (в том числе «Василий Теркин» А. Твардовского, «Друзья и враги» К. Симонова и др.), ряд сборни-

„...СТРАНА, ЛЮДИ— ОДНО ВОСХИЩЕНИЕ!“



ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГУГО
ГУППЕРТА С МАКСИМИЛИ-
АНОМ ШИКОМ

ков собственных стихов и прозы (начиная с вышедшей еще в 1934 году книги «Сибирская бригада»), трилогия автобиографических романов, последняя часть которой была опубликована в ГДР в 1979 году.

Работа Гуго Гупперта была отмечена рядом высоких наград. Советское правительство наградило его в 1967 году орденом «Знак Почета». Он был лауреатом Национальной премии ГДР и премии ГДР имени Генриха Гейне. В 1972 году Гупперт получил премию имени Максима Горького, присуждаемую советским Фондом мира за достижения по переводу и распространению советской литературы.

Особое место в переводческой деятельности Гуго Гупперта занимает его работа по воссозданию на немецком языке бессмертного творения Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Можно сказать, что, вместе с трудом над произведениями В. Маяковского и «Василием Теркинским» А. Твардовского, эта работа явилась вершиной творческих достижений поэта-переводчика Гуго Гупперта.

Публикуемые ниже материалы дают возможность проследить за этой работой и связанными с нею обстоятельствами — начало, ход и завершение перевода, потребовавшего почти пятилетнего труда, — так сказать, непосредственно из первых рук, из свидетельств Гуго Гупперта, содержащихся в его письмах, которые направлялись по адресу: Москва, улица Огарева, 9. Скажем поэтому несколько слов об их адресате.

Большая творческая дружба связывала Гупперта с дру-

гим выдающимся переводчиком русской и советской литературы на немецкий язык Максимилианом Яковлевичем Шиком (1884—1968). Выросший в Германии, получивший там гимназическое и университетское образование и опубликовавший свои первые литературные опыты (стихи, литературно-критические статьи и переводы) в немецких журналах, Максимилиан Шик, начиная с 1907 года, т. е. практически всю свою сознательную творческую жизнь прожил в Москве и целиком посвятил себя делу перевода лучших произведений русских и советских поэтов и прозаиков на немецкий язык.

Будучи человеком в равной степени близким культурам немецкой и русской, Шик умел передать в своих переводах все интонации, весь смысловой и эмоциональный эквивалент языковой ткани русского текста.

Стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Тараса Шевченко и Максима Горького, Александра Блока и Валерия Брюсова, Анны Ахматовой и Николая Тихонова, Николая Асеева и Павло Тычины, Михаила Исаковского и Самуила Маршака, романы Алексея Толстого и Михаила Шолохова, Леонида Леонова и Валентина Катаева, книги Павла Бажова и Рувима Фраермана — один только этот, причем далеко не полный перечень показывает, сколь широким был переводческий диапазон Максимилиана Шика, давшего за шестьдесят с лишним лет работы немецкому читателю целую библиотеку русской и советской литературы. О качестве его труда



говорит хотя бы тот факт, что многие из его переводов продолжают переиздаваться и сегодня. А с том, как ценили Шика переводимые им авторы, свидетельствует то, что Брюсов посвятил ему свои стихи, а взыскательнейшая Анна Ахматова, считавшая свои стихи почти непереводаемыми, получив несколько своих стихотворений в его переводах на немецкий язык, тут же послала ему телеграмму: «Благодарю перевод прекрасный».

За дружеским советом, а порой и за помощью обращались к своему старому другу и такие известные немецкие авторы, как Иоганнес Бехер или Альфред Курелла. Пользовался помощью собрата по «святой профессии», как мы увидим ниже, и Гуго Гупперт.

Их дружба, начавшаяся в 30-е годы в период совместной работы в московской «Немецкой центральной газете» («ДЦЦ»), продолжалась более трех с половиной десятилетий — до самой смерти М. Шика. Эта дружба включала и частые личные встречи, и интенсивную переписку. Архив М. Я. Шика, находящийся ныне в Рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ф. 675, ч. 30), насчитывает десятки писем Гуго Гупперта, главным образом периода 50—60-х годов.

О «грузинском периоде» своей жизни Гуго Гупперт подробно рассказал в одной из глав последней части его уже упоминавшейся автобиографической трилогии — в романе «Шах двойнику». Не вдаваясь в оценку этой главы,

скажем, что публикуемые нами же выдержки из переписки Гупперта с Шиком (периода 1950—1954 гг.), являясь сами по себе интересными человеческими документами, отличаются непосредственностью, сиюминутностью реакции их автора на описываемые в них события, раскрывают творческую лабораторию поэта - переводчика Гупперта и показывают обстоятельства, связанные с его работой по переводу классического произведения грузинской литературы, в частности, его связи с предшественниками грузинской творческой интеллигенции и его знакомство с Грузией, ее людьми. «...страна, люди — одно восхищение!» — читаем мы в одном из его писем. Это восхищение и любовь к грузинской земле Гупперт сохранил затем на всю жизнь.

К сожалению, переписка сохранилась не полностью, и читатель, вероятно, заметит пробелы. В ряде публикуемых писем сокращены фрагменты, которые не касаются непосредственно работы Гупперта над «Витязем в тигровой шкуре» либо его пребывания в Грузии. Эти места отмечены в тексте квадратными скобками с отточиями. Все письма даны в переводе с немецкого языка. Несколько открыток были написаны Гуппертом на русском языке, что специально оговаривается в публикации, а в самих текстах исправлены лишь некоторые описки. Отметим также, что иногда Гуго Гупперт называет Максимилиана Яковлевича Шика Максимом Яковлевичем, — в публикации случаи такого обращения оставлены без изменений.

Квишхети близ Боржоми, 12 октября 50 г.

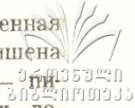


Мой дорогой, глубокоуважаемый Максимилиан Ишк!

Примите этот сердечный привет из Грузии как доказательство того, что я жив и не пропал без вести. [...] Из уст наших общих знакомых Вы, вероятно, уже слышали, что в конце августа я уехал в Тбилиси, чтобы взять на себя почетное задание грузинского отделения ВОКС, а именно — осуществить перевод на немецкий язык поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». [...] Итак, я получил утвержденный академическими инстанциями подстрочник на русском языке и другие вспомогательные источники и представил свой перевод первых глав — с точным соблюдением всех элементов формы поэмы Руставели: катрены (четверостишия) по 16 слогов в строке, т. е. восьмисложный хорей с цезурой в середине строки, причем все строки в четверостишии обязательно рифмуются: а-а-а-а; рифма мужская или женская (при мужской рифме строка «неполная» — 15 слогов). Эта четырехстрочная рифмовка — сплошное мучение; притом ведь необходимо сохранить полную верность оригиналу. Будучи специалистом, Вы не можете не посочувствовать мне. [...]

Жара в Тбилиси заставила меня переселиться в горы. (Начиная с этого места, это мое письмо к Вам уже не носит «доверительного характера»). В одном из самых чудесных уголков земли — в юго-западном уголке Картийской низменности, в окаймленном виноградниками и садами предгорье у входа в Боржомское ущелье — Союз писателей Грузии устроил свое несравненное «Переделкино» — дачный поселок для творческих личностей, летнюю колонию для поэтических умов под названием Квишхети. Никаких новостроек тут пока нет, потому что местные виноградари и колхозные садоводы охотно сдают писательским семьям верхние этажи своих двухэтажных домов, окруженных по южному обычаю верандами. Плату за проживание тут берут очень скромную, и живешь в тени и прохладе, окруженный лозами винограда, с прекрасным питанием и с живительным горным воздухом, и яблони протягивают свои спелые плоды прямо в окно. Снизу доносится шум быстроводной Куры, а наверху шумит на ветру горный лес.

Мне предоставили комфортабельную комнату в бывшем имении одного князя-либерала, который был предводителем тифлисского и кутаисского дворянства. Сейчас тут Дом творчества писателей, где я вот уже второй месяц живу в мире и



согласен с моей милой Олимпией. Эта Олимпия — урожденная немка, еще довольно молода, хорошо сложена и не лишена элегантности, обладает литературными способностями — пишет (причем не только прозу), не требует никаких особых, дорогих нарядов, разве что только хорошую ленту — фиолетовую либо черную; она часами занимает и развлекает меня, не наскучивая. Родилась она в Эрфурте, на заводе конторских машин. К сожалению, она со мной тут лишь временно — я получил ее напрокат, по квитанции, и когда покину Грузию, ей придется вернуться в Тбилиси. К счастью, в Москве у меня есть Эрика (портативная), которая устроила бы мне сцены ревности, если бы узнала о существовании Олимпии. Но шутки в сторону. Работа я тут страшно много, а так хотелось бы быть просто туристом. Погода все эти недели стояла чудесная, словно в разгар лета, и дышала соблазнами. В результате я не смог воспротивиться искушению и позволил повозить себя на машине по всей Южной Грузии, в том числе посетил и все исторические места, связанные с эпохой Руставели — этим «золотым веком» времени царицы Тамары (XII-XIII вв.): Мцхети, Гори, Кинцвиси, Месхетию, Джавахетию, Ахалцихе, озеро Цунда с близлежащей базиликой, средневековые замки Аспиндза, Хертвиси, фантастические руины крепости Тмогвис-Цихе (в которой я узнал крепость Каджети, описанную Руставели), наконец уже у самой турецкой границы меня буквально потряс двенадцатипятиэтажный, вырубленный в горе, в поистине первобытных скалах, пещерный монастырь, состоящий из трехсот помещений-гrotто, — тут и хоромы, и жилые комнаты, и кельи, и часовни — основан он в XII веке. Этот монастырь-крепость называется Вардзиа — «Замок роз», он не раз опустошался турками и персами, но еще и сегодня на одной из фресок огромного гrotто-собора можно разглядеть среди витязей и свиты Георга III — отца Тамары — изображение Руставели.

Разумеется, я осмотрел и чудесные курорты Боржом и Бакуриани, побывал на колхозных праздниках и гуляньях по случаю окончания уборки урожая. Только вчера, поднимаясь по серпантину к Бакуриани, я попутно оказался радостным очевидцем и хмельным участником большого праздника, посвященного сбору винограда. Я добирался до деревень, лежащих высоко в горах, был на охоте вместе с прекрасным человеком — старым революционером Соломоном Тавадзе. А теперь обещают свозить меня из Сагурами через горный хребет в западные районы — в Кутаиси и Багдади, где прошли детские и гимназические годы Маяковского. [...]

Квишхети близ Боржоми, 12 октября 50 г.



Мой дорогой, глубокоуважаемый Максимилиан Шик!

Примите этот сердечный привет из Грузии как доказательство того, что я жив и не пропал без вести. [...] Из уст наших общих знакомых Вы, вероятно, уже слышали, что в конце августа я уехал в Тбилиси, чтобы взять на себя почетное задание грузинского отделения ВОКС, а именно — осуществить перевод на немецкий язык поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». [...] Итак, я получил утвержденный академическими инстанциями подстрочник на русском языке и другие вспомогательные источники и представил свой перевод первых глав — с точным соблюдением всех элементов формы поэмы Руставели: катрены (четверостишия) по 16 слогов в строке, т. е. восьмисложный хорей с цезурой в середине строки, причем все строки в четверостишии обязательно рифмуются: а-а-а-а; рифма мужская или женская (при мужской рифме строка «неполная» — 15 слогов). Эта четырехстрочная рифмовка — сплошное мучение; притом ведь необходимо сохранить полную верность оригиналу. Будучи специалистом, Вы не можете не посочувствовать мне. [...]

Жара в Тбилиси заставила меня переселиться в горы. (Начиная с этого места, это мое письмо к Вам уже не носит «доверительного характера»). В одном из самых чудесных уголков земли — в юго-западном уголке Картлийской низменности, в окаймленном виноградниками и садами предгорье у входа в Боржомское ущелье — Союз писателей Грузии устроил свое несравненное «Переделкино» — дачный поселок для творческих личностей, летнюю колонию для поэтических умов под названием Квишхети. Никаких новостроек тут пока нет, потому что местные виноградари и колхозные садоводы охотно сдают писательским семьям верхние этажи своих двухэтажных домов, окруженных по южному обычаю верандами. Плату за проживание тут берут очень скромную, и живешь в тени и прохладе, окруженный лозами винограда, с прекрасным питанием и с живительным горным воздухом, и яблони протягивают свои спелые плоды прямо в окно. Снизу доносится шум быстровой Куры, а наверху шумит на ветру горный лес.

Мне предоставили комфортабельную комнату в бывшем имении одного князя-либерала, который был предводителем тифлисского и кутаисского дворянства. Сейчас тут Дом творчества писателей, где я вот уже второй месяц живу в мире и

согласен с моей милой Олимпией. Эта Олимпия — урожденная немка, еще довольно молода, хорошо сложена и не лишена элегантности, обладает литературными способностями (еще при советской власти), шлет (причем не только прозу), не требует никаких особых, дорогих нарядов, разве что только хорошую ленту — фиолетовую либо черную; она часами занимает и развлекает меня, не наскучивая. Родилась она в Эрфурте, на заводе конторских машин. К сожалению, она со мной тут лишь временно — я получил ее напрокат, по квитанции, и когда покину Грузию, ей придется вернуться в Тбилиси. К счастью, в Москве у меня есть Эрика (портативная), которая устроила бы мне сцены ревности, если бы узнала о существовании Олимпии. Но шутки в сторону. Работаю я тут страшно много, а так хотелось бы быть просто туристом. Погода все эти недели стояла чудесная, словно в разгар лета, и дышала соблазнами. В результате я не смог воспротивиться искушению и позволил повозить себя на машине по всей Южной Грузии, в том числе посетил и все исторические места, связанные с эпохой Руставели — этим «золотым веком» времени царицы Тамары (XII-XIII вв.): Мцхети, Гори, Кинцвиси, Месхетию, Джавахетию, Ахалцихе, озеро Цунда с близлежащей базиликой, средневековые замки Аспиндза, Хертвиси, фантастические руины крепости Тмогвис-Цихе (в которой я узнал крепость Каджети, описанную Руставели), наконец уже у самой турецкой границы меня буквально потряс двенадцатиэтажный, вырубленный в горе, в поистине первобытных скалах, пещерный монастырь, состоящий из трехсот помещений-гrotтов, — тут и хоромы, и жилые комнаты, и кельи, и часовни — основан он в XII веке. Этот монастырь-крепость называется Вардзиа — «Замок роз», он не раз опустошался турками и персами, но еще и сегодня на одной из фресок огромного грота-собора можно разглядеть среди витязей и свиты Георга III — отца Тамары — изображение Руставели.

Разумеется, я осмотрел и чудесные курорты Боржоми и Бакуриани, побывал на колхозных праздниках и гуляньях по случаю окончания уборки урожая. Только вчера, поднимаясь по серпантину к Бакуриани, я попутно оказался радостным очевидцем и хмельным участником большого праздника, посвященного сбору винограда. Я добирался до деревень, лежащих высоко в горах, был на охоте вместе с прекрасным человеком — старым революционером Соломоном Тавадзе. А теперь обещают свозить меня из Сагурами через горный хребет в западные районы — в Кутаиси и Багдади, где прошли детские и гимназические годы Маяковского. [...]

В Квишхети у меня были замечательные соседи (сейчас многие вместе с семьями уже перебрались в город): Георгий Леонидзе, оба Абашидзе, Лео Квачели, Алио Мирцхулава (Машашвили) и др.

Что же мне еще рассказать Вам? Этот край — страна с молочными реками и кисельными берегами, тут в изобилии соки, вино, фрукты (хотя этот год считается не самым урожайным, весной здесь выпадал град). Сейчас погода переменялась, отсюда и мое долготерпение и это архидлинное письмо — я вынужден торчать в четырех стенах моей комнаты. И холодно уже становится тут, высоко в горах, особенно по ночам.

23-го я намереваюсь собрать свои пожитки и перебраться в Тбилиси. Там я буду читать перед приглашенными гостями, имеющими несчастье понимать по-немецки, пару-другую длинных отрывков из уже переведенных глав. А затем я собираюсь в Москву — это будет в первой неделе ноября — и продолжу работу там. [...]

Жму Вашу дружескую руку и шлю привет всем нашим общим знакомым.

Ваш старый Гуго Г.

Над чем Вы сейчас работаете, маэстро? Как дела со здоровьем?

Тбилиси, 19 декабря 1950.

Дорогой друг Максимилиан!

Ваша открытка от 26 ноября попала ко мне с опозданием, после моего возвращения из поездки по Имеретии. Я тут же кинулся на поиски Ваших «Хождений по мукам», но оказалось, что в том букинистическом магазине весь Алексей Толстой уже давно распродан. Что меня особенно мучит, так это мысль о том, что подобная просьба, высказанная мною, Вами выполнена (надеюсь, оставленные для меня 50 экземпляров моего Симонова, несмотря на мою задержку с возвращением, будут в полной сохранности!). Надеюсь, что и Вашу книгу еще удастся где-нибудь найти; во всяком случае, я буду продолжать расспросы.

Моя поездка в Кутанси и Багдади была исполнением моей старой мечты — побывать в доме, где родился Маяковский, и увидеть собственными глазами места, где прошло его детство. Погода во время этой поездки (9-15 дек.) была ослепительно солнечной, небо — голубое, тепло — как у нас в начале сентября. Мне дали персонального сопровождающего — молодого грузинского поэта Отара Челидзе, который, будучи по рожде-



нию имеретинцем, хорошо знает эти места в верховьях Риони. Жаль, что в настоящий момент я не располагаю состоянием внутреннего спокойствия, чтобы описать Вам, дорогой друг, всю поразительную прелесть этой экскурсии. Дело в том, что сегодня вечером я еду в противоположном направлении — в Кахетию, в Алазанскую долину, в те благодатные уголки, где выращивают виноградные сорта, названия которых благодаря столь привлекательным этикеткам на винных бутылках так хорошо закрепились в нашей памяти. Как хотелось бы мне сейчас, досточтимый Максимилиан, чтобы моим попутчиком были Вы!

Поскольку я, кроме того, собираюсь — если мне позволят средства — отпраздновать встречу Нового года на берегу Черного моря, куда меня настойчиво приглашает одна знакомая писательская семья, то я, наверное, лишь в будущем году смогу — уже при встрече, устно — описать Вам всю красоту Кутаиси и воспеть лежащий, словно корона, на горе, окруженной другими горами, монастырь Гелати (XII век), чьи художественные сокровища поистине сказочны и незаслуженно мало известны в нашем большом мире.

Что же касается района Багдади, вот уже в течение десяти лет носящего имя Маяковского, то хочется сказать лишь одно: все эти многочисленные фотографии в книгах и витринах, хорошо знакомые мне, как, впрочем, конечно же, и Вам, совершенно не дают даже приблизительного представления о том, какова эта местность на самом деле. Моим взорам открылся окаймленный горами и покрытый виноградниками холмистый мир, олицетворяющий даже сейчас, когда снят уже урожай и стоит глубокая осень, пиршество жизни и изобилие. Пурпурные, бордовые, красно-бурые склоны, увитые лозой, вздымаются, словно крутые волны, и в то же время дышат покоем — виноград уже убран. Живописный беспорядок линий, и над ними, далеко-далеко вдали, на севере, ослепительно белые сахарные головы Тетнульда, Гестолы, Катин-Тау и Джанги-Тау, а рядом — ледяная стена Шхары (5100 метров высотой). И все это освещено ярким полуденным солнцем, придающим имеретинской цветовой палитре еще большую прозрачность, ясность, контрастность и высокое чувство полноты бытия. С особой силой ощущаешь безмолвную исконную и дышащую здоровьем обособанность, обжитость и гуманность этого ландшафта. И посреди всего этого, над берегом реки Ханис-Цхали, у подножия холма, покрытого когда-то густым дубовым лесом, — дом, где родился мой любимый поэт. Отдельно стоящий, уютный, на грузинский

лад двухэтажный дом его родителей, расширенная лесника, лесная обитель. И это — место рождения самого урбанистического поэта мира!

избушка
УРБАНИСТИЧЕСКОГО
ПОЭТА МИРА

Вот и все на сегодня. Счастливого Нового года и — до встречи!

Ваш Гуго Гупперт

Открытка на русском языке

Телави, воскресенье, 24/XII-50 г.

Максим Яковлевич! Сердечный привет из прекрасной, живописной Кахетии. Мы здесь уже 4 дня. Объехали виноградарские края. Были в совхозе Цинандали (бывш. имение А. Чавчавадзе, где Грибоедов на красавице Нине женился, где в гостях бывали Пушкин, потом и Лермонтов). Были в цветущих селениях Бушети, Ванга, Акура и др. Вчера в колхозах Саниоре и Напареули. Меня сопровождает тбилисский доцент Шота Дзидзигури. Представители сельсоветов нам устраивают горячие встречи. Чтобы гостеприимных хозяев не обижать, приходится крепко участвовать в богатейших пиршествах. А я не умею выпивать, как некоторые мои знакомые. Поэтому я сегодня совсем больной. Но страна, люди — одно восхищение! Климат радует тело и душу.

Желаю счастливого Нового года!

Гуго

Открытка на русском языке

Сухуми, 1 января 1951 г.

Дорогой Максим Яковлевич! Писал я Вам из Имеретии (Кутаиси и родное село Маяковского — Багдади) и из Кахетии (Телави, Цинандали, Саниоре, Напареули); а сейчас поздравляю Вас с Новым годом, который я встречаю здесь у Черного моря, в доме одной милой семьи в Сухуми. Верьте, сегодня здесь голубое небо, синее море и такая теплынь, что мы ходим под пальмами, кипарисами, магнолиями набережной без пальто, в распахнутых пиджаках. Море лениво, с мирным плеском отдыхает от уехавших давно курортников. И у самого горизонта, под греющим солнцем, так радостно и многообещающе сверкает, что заставляет меня надеть темные очки. Жасмин в аллеях цветет и пахнет, распустились дикие, маленькие розы. Сегодня я сорвал в саду сам с дерева спелую мандарину и

сьел. А одновременно на хребтах, лесистых и голых, виднеется свежий снег.



Пробуду неделю. Всех благ желает

Гуго Г.

Тбилиси, 31 декабря 1951 г.

Дорогой, уважаемый товарищ Шик!

В чудесном праздничном настроении перед новогодней ночью пишу Вам, милейший Максимилиан Яковлевич, эти дружеские строки — мое последнее послание в уходящем году. [...] Сегодня, несколько часов назад, я подписал крупный договор [...], согласно которому я должен буду продолжить и завершить мой перевод Руставели. Если он удастся, то «Витязь» впервые увидит свет на одном из западноевропейских языков в поэтическом переложении. Я должен сдать его через 18 месяцев, т. е. не позднее 1 июля 1953 г. Мой заказчик: ГОКС — Грузинское общество культурных связей с границей. Именно оно (а не какое-либо издательство) мой партнер по договору. Так пусть же все силы судьбы помогут мне! Ведь надо не только успеть к сроку, но и суметь показать, что Руставели — этот западно-восточный гигант раннего Возрождения — по гению равен Данте, а по своему гуманизму — еще выше.

Вы, глубокоуважаемый маэстро, один из немногих, кому знакомо начало моей работы над Руставели, Вы даже в определенной степени проштудировали и отредактировали ее. И в дальнейшем я хочу опираться на Вашу строгую оценку. И я пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз поблагодарить Вас за Вашу бескорыстную помощь и поддержку. Ваше профессиональное мнение тогда в середине июля немало способствовало принятию последнего, положительного для меня решения, вынесенного вопреки всем бюрократическим препонам и во имя справедливости по требованию и настоянию высшей инстанции республики.

2 января 1952 г.

Итак, это письмо я пишу уже второй год. Меня прервал телефонный звонок. Пригласивший меня сегодня в гости — знакомый, конечно, и Вам — грузинский поэт Алио Мирцхулава (Машашвили) не мог больше ждать. Пора, пора к столу! Сейчас же, немедленно! Он живет на другом берегу Куры, в большом новом доме, откуда открывается чудесный вид на излучину реки, на набережные, старый город и горы на горизонте. Так что я на час раньше, чем Вы, вплыл в Новый год в

обстановке шумного, непринужденного застолья, наслаждаясь вкуснейшими экзотическими блюдами, под звуки чонгури в пандури, атакующий имеретинским красным и кахетинским белым, окруженный неотступным вниманием остроумнейшего поэта-тамады, многочисленных прекрасных дам и веселых мужчин, оглушенный безудержной токкатой их темпераментного говора на языке, которого я не понимаю. Так что на следующий день, вчера, я был не совсем в работоспособном состоянии. Этот день я использовал для посещения поэта Карло Каладзе и его жены — художницы и скульптора Тамары Абакелия, талантливейшей ученицы покойного Николадзе — ученика Родена. Я хочу уговорить Абакелия проиллюстрировать мое будущее издание Руставели на немецком языке (она была художником-оформителем и иллюстратором перевода Руставели на украинский язык, сделанного Миколой Бажаном с русского перевода Цагарели). Меня поразила роскошная, на манер музеев, квартира этих талантливых супругов в одном из переулков-аллей старого города.

А сегодня меня повезли из долины, где стояла солнечная, прямо-таки весенняя погода, по канатной дороге (фуникулер) на полузаснеженную гору отца Давида, чтобы я еще раз наслаждался с террасы на крыше Дворца культуры грандиозной панорамой этого покорно и дерзко вписавшегося в царство гор большого города. Наверху чувствовались резкие порывы по-весеннему теплого ветра. Всюду слышалось бульканье и постукивание капель — таял снег. После долгих туманных недель воздух сегодня был совершенно прозрачным. Можно было разглядеть внизу каждый дом, каждое окно в центре города. А вокруг — красно-бурые и фиолетовые очертания цепи гор, и все они со снежными пятнами и в белых шапках. Голые, в складках и разломах плоскогорья, крутые склоны. И совсем внизу на северо-западе — зигзагообразные, покрытые льдом вершины Главного Кавказского хребта, сверкающие, словно хрусталь, на ярком послеполуденном солнце.

Вам я могу признаться, Максимилиан Яковлевич: я был глубоко взволнован и готов вот-вот разрыдаться. С глубокой благодарностью воспринимал я это мгновение исполнения моей мечты, выраженной в одном из известных Вам стихотворений моего прошлогоднего грузинского цикла:

О, цепи гор, леса и реки,
И стаи птиц под облаками,
Я не забуду вас вовеки
И жажду новой встречи с вами!



На обратном пути, где-то на середине, вновь открылся вид на Мтацминду — Святую гору — и Пантеон грузинских поэтов. Там стоит церковь с надгробной часовней, где покоятся Грибоедов и его жена, а чуть поодаль — великий поэт-романтик Бараташвили, затем Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели, Важа Пшавела [...].

Но я, пожалуй, чересчур расписался, так что постараюсь закруглиться. Я собираюсь пробыть тут от силы еще недели две, чтобы пополнить мой литературный арсенал всеми необходимыми научными пособиями и советами (относительно Руставели) [...].

Передавайте приветы нашим общим знакомым и примите самые наилучшие новогодние пожелания от Вашего

Гуго Гупперта

Открытка на русском языке
г. Ереван, 1 апреля 1952 г.

Дорогой Максимилиан Яковлевич!

В Тбилиси я не находил времени написать многим московским товарищам и собратьям по перу. Потом я с поэтами Каладзе и Машашвили сделал автопоездку (по командировке Союза писателей Грузии) на «победу» Карло Каладзе по Западной Грузии — Имеретии, Мингрелии, Гурии и Аджарии до Батуми [...]. Этот замечательный город я увидел впервые. Вернувшись другим маршрутом, через колхидскую колхозную, цветущую, яркосолнечную весну, в Тбилиси, я скоро отправился (на сей раз в малолитражке «москвич») через кусок Азербайджана в Армению, откуда сердечно приветствую.

Привет жене и всем, всем знакомым!
Ваш Гупперт

Сочи, 18 сентября 1952 г.

Любезный Максимилиан Яковлевич!

Как давно мы не виделись и как мне Вас не хватает — верите Вы или нет — все это время! [...].

Продолжение предыдущего письма
Сочи, 21 сентября 1952 г.

[...] Я опять усердно сижу над «Витязем». Чтобы достойно закончить это письмо, хочу показать, что сумел я сделать за вчерашний день (написание существительных с маленькой буквы объясняется не влиянием Стефана Георге, а, ей-богу, са-

ним грузинским языком, который не знает прописных букв ни в начале предложения, ни при написании собственных имен¹

(Далее следует перевод на немецкий язык семи строк с 517-ой по 523-ю — «Витязя в тигровой шкуре»).

И так далее. Посмотрите эти строфы, взвесьте их — ведь это Ваша святая профессия. Я кончаю. Постоянного здешнего адреса у меня нет. Может быть, скоро я отправлюсь в Гагры. Так что пока я буду лишен удовольствия получить Ваш ответ.

С самым сердечным приветом
Ваш Гуго Г.

Квишхети близ Боржоми,
18 августа 1953 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Максимилиан Яковлевич.

— и вот снова оказался я в этом прекрасном картлийском уголке, где три года назад уже имел возможность познакомиться с заключительным аккордом здешнего лета и — насколько это получалось и удавалось — понаслаждаться им. Правда, тогда я был болен. Этой болезнью были печаль, ностальгия и разбитая любовь. Но, может быть, сейчас все уже прошло, улеглось и наладилось? Да нет, ничего подобного. Но сейчас передо мной серьезнейшая задача (казавшаяся тогда такой далекой) — завершение огромного труда. Какого труда? «Витязя» Руставели, ставшего ныне моим спутником в поездках на север и на юг, моим лучшим товарищем и утешителем, моим самым сердечным другом и советчиком. С ним я уже не так одинок, как в 1950 году, когда его еще не было. И это значительно повысило мой жизненный тонус. Я чувствую: этим трудом я выполняю высокую, может быть, даже самую высокую общественно полезную функцию, которую мне суждено выполнить. [...]

Я таскал с собой Руставели к Балтийскому морю и к Черному морю, пронес его через грандиозные ущелья улиц новой Москвы — грандиознее, чем горные ущелья его родных месхетских мест. В моих руках, в моих чувствах он становился все тяжелее, он все более властно забирает меня физически и духовно. В июне он был со мной в Тбилиси во время тропической жары только что начавшегося лета. В чем-то это было уже

¹ Стефан Георге (1868-1933) — немецкий поэт, переводчик, публицист, внесший новаторские элементы в немецкую поэзию. В тексте письма здесь — непереводаемая игра слов. — Прим. перев.

сверх моих сил. Я страдал периодическими мигренями; однажды я спасся от обморока, который мог случиться со мной прямо тут же на улице, забежав в аптеку, где мне быстро помогли и привели в чувство. Вскоре я бежал в Москву и там с помощью Руставели вновь обрел себя. Но 40 дней спустя он опять принудил меня к паломничеству на юг, и вот я здесь, на горном воздухе, нашел приют и снова обрел силы. [...]

Ваш Гуго Гупперт

Мой адрес (до конца сентября): Груз. ССР, Хашурский р-н, станция Квишхети, Дом писателей. [...]

Тбилиси, 28 декабря 1953 г.

Дорогой друг Максимилиан Шик!

Сердечное спасибо Вам за Вашу любезную весточку от 19-го сего месяца. Когда я получил Ваше послание, моя новогодняя поздравительная открытка на Ваше имя была уже в пути. Спешу теперь повторить и конкретизировать мои наилучшие пожелания.

Пусть крепкое здоровье и боевое рабочее настроение не только помогут Вам справиться с десятью печатными листами перевода Леонова за сто дней, но и пусть книжный рынок грядущих лет обогатится еще одной прекрасной — и без сокращений — книгой, сделанной благодаря Вашему продуктивному и умелому труду! [...]

Было бы хорошо, если бы на последнем вечере секции переводчиков, о котором Вы пишете мне, были прочитаны и две-три вещицы из моего переводческого портфеля. Присутствующие могли бы затем *in contumaciam*¹ дать литературную оценку работы отсутствующего. Специалист по представлению моей работы смог бы, я думаю, найтись из числа тех, чье присутствие предполагается.

Поэтому я позволю себе, если все будут согласны, приложить в этих целях пару отрывков из моего только что законченного «Витязя» Руставели, а именно — по причине спешки — уже знакомый Вам кусок, опубликованный венским журналом «Тагебух», а также отрывки из более поздних глав, которых Вы еще не знаете. Ваша собственная оценка была бы для меня и сейчас весьма и весьма желательна и важна. Ведь теперь речь идет об отшлифовке всего произведения. [...]

¹ Злочно.

С благодарностью жму Вашу руку и — еще раз — Новым годом!

Ваш Гуго Гупперт



До конца января я, вероятно, останусь тут (мой адрес: Тбилиси, 4, до востребования), а в феврале собираюсь снова быть в Москве. [...]

Тбилиси, 23 апреля 1954 г.

Дорогой, высокочтимый друг Максимилиан Шик!

То, что день Вашего семидесятилетия диктует торжественные слова моему перу, точнее говоря, нашептывает их клавишам моей пишущей машинки, да не смутит пусть Ваш здоровый, трезвый рассудок. Я вижу перед собой не скорбленного кабинетного ученого, а сказочно бодрого коллегу и благородного товарища, которому желаешь всего самого доброго и плодотворного, что только может дать своему современнику наше грандиозное время. [...]

Огромное спасибо за возврат моей рукописи перевода стихов Руставели с Вашими замечаниями. [...]

Я задержусь здесь, вероятно, еще на месяц. Навожу последний глянец на готовую уже рукопись, работаю вместе с моим научным консультантом над аппаратом (примечания, комментарии, послесловие и т. д.). Все это поднимается, как тесто, и липнет на всех пальцах. [...] Обнимаю Вас всем сердцем.

Ваш Гуго Гупперт

Открытка на русском языке

Тбилиси, 16/V-54 г.

Дорогой друг Максимилиан Яковлевич!

Как ваше здоровье, каковы Ваши творческие дела? Очень я Вам остаюсь благодарным за аккуратную присылку моих Руставелиан. Мне неизвестно, как и когда Вы там отпраздновали славный день Вашего 70-летия, но я мысленно был с Вами и всей душой желаю Вам блага и здоровья. Не знаю, получили ли Вы вообще (или даже вовремя) мое поздравительное письмо от 23/IV, но мне хочется одно из стихотворений моего грузинского цикла гласно посвятить Вам по старому, благообразному писательскому обыкновению. Рукопись поэтической книги «Грузинский посох» (georgischer Wanderstab), содержащей около 70 стихотворений и 2 небольшие поэмы, почти готова.

Кое-что уже опубликовано в ГДР и в австрийской прогрессивной печати, как Вы знаете.

Пишите, дорогой! Жму руку.

Гуго

Тбилиси, 31 мая 1954 г.

Дорогой друг Максимилиан Яковлевич!

[...] Мое физическое отсутствие на Вашем юбилее ни в какой мере не помешало моему духовному участию в нем. Вы знали всегда, как знаете и сегодня, искренность моей симпатии к советской творческой интеллигенции, чьим в высшей степени значительным представителем Вы с давних пор были в моих глазах (да и не только в моих). [...]

Движимый этим чувством, я посвящаю Вам одно из моих стихотворений (каковых будет свыше восьмидесяти), входящих в мою будущую книгу «Грузинский посох», а именно — посвященное борьбе за мир стихотворение «Помни всегда!» из заключительного цикла этого большей частью лирического томика. Я позволю себе приложить его к этому письму вместе с другим, взятым наугад, стихотворением «Журавли» (в качестве образца основной, лирической части). Меня интересует Ваша критическая оценка. [...]

Мои труды в Грузии, имеющие своим результатом три книги, одна из которых — большой сборник новых переводов Маяковского — вышла еще в декабре, близятся к своему завершению. А значит, и близится наша встреча в Москве, на улице Огарева, и наш сердечный разговор за непременно рюмочкой коньяка — *de omni, re scibile*¹ и одновременно *colloquium versifectorium*². [...]

С сердечным приветом
Ваш Гуго Гупперт

Открытка на русском языке
(Тбилиси) 5/VII-54 г.

Дорогой Максимилиан Яковлевич!

¹ Беседа обо всем на свете.

² Собеседование о поэзии.

[...] Здесь я дорабатываю примечания к моему Руставели, который уже находится в ГДР в производстве. [...]

Приветствую Вас сердечно,
Ваш Гуго Г.

Доработка рукописи и производство потребуют немало времени. Пройдет еще больше года, прежде чем на прилавках книжных магазинов появится выпущенный берлинским издательством «Рюттен унд Лёнинг» немецкоязычный «Витязь в тигровой шкуре». К автору перевода книга попадет еще позже. Гупперт напишет об этом Шикку 20 июля 1956 года уже из Вены, куда он к тому времени переедет.

Публикация, вступительная статья и перевод с немецкого

Александра ФЕДОРОВА

Михаил КОРСУНСКИЙ

ГРУЗИНСКАЯ СКАЗКА

АДМИРАЛА ИСАКОВА

В 1972 году издательство «Наука» выпустило небольшим тиражом сборник «Иван Степанович Исаков»¹. Это книга о выдающемся советском военачальнике, Адмирале флота Советского Союза, Герое Советского Союза, члене-корреспонденте Академии наук СССР, почетном академике Академии наук Армянской ССР, члене Союза писателей СССР Иване Степановиче Исакове. Сборник давно уже стал библиографической редкостью.

Из него мы можем узнать, что в 1922 году Иван Степанович опубликовал в нашем старейшем журнале «Морской сборник» в

¹ «Иван Степанович Исаков», М., «Наука», 1972.



№ 5—7 свою первую научную работу «Работа подрывной партии 1 марта 1922 года у банки «Вигрунд», а в 1959 году в библиотеке журнала «Советский моряк» № 11 — первое литературное издание «Кронштадтская побудка». Почти одновременно в № 4 журнала «Литературная Армения» был напечатан рассказ «Дашнаки теряют своего флагамена».

Известно из многочисленных публикаций, что И. С. Исаков с юношеских лет вел записи интересных событий, фактов, случаев и происшествий из флотской жизни.

«Моя ошибка, что поздно начал писать... Если бы не слабость и боли — наделал бы дел. Увы. Поздно спохватился! Не сделайте той же ошибки!»²

«Сегодня исполняется мне 69 лет. Немного поздно начал писать. Говорят, что для беллетриста — мировой рекорд. Но дело не в рекорде, а в том, что здоровья и сил осталось мало, а в ящиках стола около 40 рассказов и повестей в готовности от 10 до 90 процентов. Мешает не только культа, но и работа в Академии наук. Еще больше мешают морячки, присылающие свои рукописи из всех портов и морей. А тут на свое времени нет»³.

«Почему пишу (а пишу давно), сказать трудно. Самое простое определение — есть какая-то внутренняя потребность. Больше того, есть убежденность, что я могу этим принести некоторую, пусть скромную помощь советскому читателю»⁴.

«Однако ясно, что поздно взялся. Материалов на много лет, а здоровья — не на много. А жить интересно, даже едучи с ярмарки, так как кругом нас чудеса с каждым днем открываются»⁵.

«70 лет, с моими болячками от немецких бомб и от ножей наших хирургов, — слишком много. Так обидно, что грубо просчитался. Собирал, накапливал, учился, делал заготовки..., а оказывается — реализовать времени не хватает... Пока хватит сил, буду пытаться что-либо сделать, так как без работы жить не умею, но силенок осталось совсем мало»⁶.

Такие и подобные высказывания можно найти во многих

² «Вестник архивов Армении» № 2 1968, с. 106 (далее — «Вестник»).

³ «Адмирал флота Советского Союза Исаков», Ереван, АН Арм. ССР, 1975, стр. 246 (далее — «Адм. Исаков»).

⁴ «Вестник» № 2, 1979, стр. 34.

⁵ «Адм. Исаков», стр. 175.

⁶ «Адм. Исаков», стр. 189.

уже опубликованных ранее письмах И. С. Исакова к своим сослуживцам и соплавателям.

Но с наибольшей силой высказанные выше соображения появились в письме к Константину Михайловичу Симонову:

«...С 20-летнего возраста записывал, что видел, слышал, чувствовал. Никогда не думал о публикации. Ввиду очень насыщенной биографии и наблюдательности в итоге масса полужабуриков, заметок, очерков. Не нескромность, а здравый смысл подсказывает, что кое-что есть полезное не только для моряков»⁷.

А вот отрывок из ранее не публиковавшего письма к Эдуарду Яновичу Ныу:

«Мне надо (это долг) написать то, что многие не знают, но должны знать... Каждая задержка идет в ущерб этой работе, почему я сократил число корреспондентов. Сейчас Ваш «Лооминг» взял рассказ «Испытание», но, к сожалению для меня, пойдет на эстонском языке. Каждый момент пытаюсь использовать...»

Характерную приписку к этому письму сделала Ольга Васильевна — супруга адмирала:

«Спасибо Вам за внимание к И. С. Увы, дела обстоят неблестяще — культа и 73 года дают себя знать, а он не хочет угомониться, из сил выбивается, но работает, используя все «просветы».

Можно смело утверждать, что с юношеских лет Иван Степанович Исаков готовил себя к литературной деятельности. Он жил в бурное, трудное время, много плавал, воевал, и все советские люди гордятся боевыми делами выдающегося советского военачальника, Адмирала флота Советского Союза, Героя Советского Союза Ивана Степановича Исакова.

Но был еще писатель Иван Исаков, который начался в до-революционное время. Он не публиковал своих произведений, складывал черновики в папки, которые всегда возил с собой. Но одна работа увидела свет.

Много лет тому назад, еще при жизни Ивана Степановича, работая над книгой об эсминце «Изяслав» — «Карл Маркс», я нашел первую публикацию мичмана Исакова.

Все хотел раздобыть экземпляр журнала «Огонек» № 35 за 1915 год, который открывается сказкой «Под павлином», чтобы подарить Ивану Степановичу. Опоздал...

Эта «кавказская сказка» подписана Алексеем Ремизовым, который ее обработал. Внизу страницы, однако, имеется такая фраза:

⁷ «Адм. Исаков», стр. 279.



«В основу положена грузинская сказка, рассказанная бывшим псаломщиком Сионского собора (Тифлис), духанщиком, устою (ремесленником) Леваном Пхавадзе, а рассказана сказка в Крестовом монастыре (Джварис Сагдари), где жил и умер Мцыри Лермонтова, а записал сказку гардемарин Иван Степанович Исаков».

Здесь необходимо отметить два обстоятельства.

Во-первых, сказка записана Иваном Степановичем со слов простого ремесленника, что уже само по себе свидетельствует о его близости к народу, к людям Тбилиси, грузинскому народу, чей язык Иван Исаков изучил еще в детстве.

В одном из писем к писателю Хаджи-Мурату Мугуеву И. С. Исаков писал:

«Учтите, я историю Закавказья учил по улицам, на которых пропадал сутками, годами: Реутовская, Гришевская, Мадатовский остров и т. д., по надгробиям в Сиони (Багратиони и др., хотя мощей их там не было)⁸.

И еще: «Когда бродяжил и был на побегушках у старого уста-ага (маляра) при ремонте старых грузинских соборов, то получал щелчки. Когда же уста погнался, чтобы вздуть, то я удрап и больше к нему не возвращался»⁹.

Свои великолепные знания грузинского языка, обычаев старого Тбилиси И. С. Исаков использовал для создания таких рассказов, как «Трофеи тетушки Пэло», «Вернемся к нашим баранам» и другие.

Известно, что в архиве адмирала осталось немало рассказов о старом Тбилиси, ныне хранящихся в ЦГАЛИ.

Во-вторых, обработка сказки действительно принадлежит Алексею Михайловичу Ремизову, русскому писателю.

«Сказка у Ремизова насыщена анахронизмами, повторами, наивной логикой «нецивилизованного» народного творчества средневековой Руси», — так определяет творчество Алексея Ремизова Краткая литературная энциклопедия. Все эти элементы, характерные для творчества Ремизова, легко обнаружить и в сказке «Под павлином».

От Исакова же — сюжет, фабула, некоторые элементы грузинской сказки, общее построение произведения.

К сожалению, мы не знаем точно, что произошло в далеком

⁸ «Вестник» № 2, 1979 г., стр. 39.

⁹ Там же, стр. 37.

1915 году, когда «черный гардемарин» принес в редакцию «Огонька» свое первое литературное произведение. Возможно, А. М. Ремизов, в то время уже известный прозаик, автор 14 книг, взялся обработать рукопись юного писателя.

Ясно одно: уже тогда начинался творческий путь И. С. Исакова.

Октябрьская революция дала ему не только множество сюжетов, которые легли в основу его «невыдуманных рассказов», но стала великолепной школой жизни, сделала бывшего мичмана Адмиралом флота Советского Союза.

«Мне, бывшему офицеру, стыдно вспоминать, что к моменту получения чина мичмана, я (как и все мои однокашники) не мог отличить большевика от меньшевика, хотя и презирал царскую камарилью и правящую верхушку.

Чем старше должность у офицера, тем грамотнее должен он быть политически...» — писал Иван Степанович в письме к А. С. Арутюняну. «Наше несчастье заключалось в том, что нас старались держать «вне политики», а это тоже политика, причем очень плохая»¹⁰.

С учетом этой мысли нужно оценивать и первую публикацию Ивана Исакова.

Думается, что сказка «Под павлином» может быть и сегодня переиздана, ибо главные ее мотивы — честность и преданность одних героев, коварство, нечистоплотность других — вечны.

¹⁰ «Адм. Исаков», стр. 182—183.



Редакция журнала «Литературная Грузия» поздравляет Зураба Нижарадзе с присуждением ему Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели за 1985 год.

ИСКУССТВО

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა

Гиви ГЕГЕЧКОРИ

ВОЛШЕБНЫЙ

КОВЕР

ЗУРАБА

НИЖАРАДЗЕ

Зураб Нижарадзе считает, что статья непременно должна быть проблемной. Данная же статья не претендует на это. Я хочу лишь всего-навсего выразить в ней свою любовь, свое отношение к творчеству Зураба Нижарадзе, известного грузинского художника, который за созданные в последние годы работы награжден премией им. Шота Руставели.

Этой высокой награды он удостоен за яркий талант и неустанный труд. Именно эти качества снискали ему всеобщее признание. Искусство Зураба Нижарадзе опирается на богатый жизненный опыт, а также на знания, почерпнутые из книг и переплавленные в горниле собственного сознания. Грузинский фольклор и грузинская классическая литература, всемирная мифология и литература стали источником его вдохновения.

Я помню первую картину Зураба Нижарадзе, которую увидел на осенней выставке 1956 года. Это был натюрморт с винными бокалами. Творческая биография художников его поколения началась фактически с этого вернисажа, поскольку в нем были впервые представлены работы Зураба Нижарадзе и его друзей, сейчас уже известных художников.

В этом натюрморте З. Нижарадзе критики отметили влияние импрессионистов. Художник и сам не отрицал этого, но, по его мнению, параллель была вызвана тем, что картине придавал европейский оттенок фон, разделенный, подобно костюму Арлекина, на квадраты, и изображенная на этом фоне репродукция с работы Франса Хальса.

Влияние импрессионистов, скорее поздних импрессионистов, и в частности Сезанна, ощущалось в изображении бокалов и в трактовке складок скатерти (вспомните скатерти в натюрмортах Сезанна). Сезанн, в отличие от других импрессионистов, не довольствовался непосредственным воспроизведением природы, а стремился к обобщениям, к поиску новых закономерностей в искусстве и особое внимание уделял композиции, в то время как для импрессионистов композиция не имела такого важного значения, и поэтому их картины зачастую производят впечатление этюдов.

Стремление к классическому было характерно для Зураба Нижарадзе с самого начала его творчества. И в первом натюрморте, быть может, менее технично, чем сейчас, художник стремился в изображении предметов сохранить яркость цвета, его своеобразие. Натюрморт давал художнику возможность оживить цвет и вдохнуть в него особый смысл. Как-то он сказал: «Может быть, тогда я не очень хорошо понимал связь между **главным** и второстепенным, а задачи в картине я сейчас решаю те же, что и тогда». Здесь же следует отметить, что стремление к классическому в этом натюрморте проявлялось и в изображении на фоне репродукции с картины Франса Хальса.

Со времени той выставки прошло почти три десятка лет. Созданы множество портретов (женских и мужских), серия старого Тбилиси, цикл итальянских зарисовок, картины на античные и лирические мотивы, картины, в которых сны похожи на явь, а явь на сновидения. Из пережитого и воображаемого неторопливо был соткан тот волшебный ковер его мечты, который, благодаря таланту и неукротимой фантазии, постепенно возносился все выше и выше.

Порой мне доводилось бывать свидетелем того, как ткался этот удивительный ковер поэтического мира художника.

Для меня бесценны воспоминания о днях, которые я провел в его прежних мастерских, сначала на улице Бесики, а позже на улице Нуцубидзе. Я вижу расцветченные стены мастерской, неугасимый огонь его холстов, кричащих красных петухов, пылающие лица женщины и мужчин, точно озаренные пламенем очага, тусклое, словно во сне, мерцание обнаженного тела, струящиеся



среди складок одежды волосы, полет волшебного ковра с музыкантами (слышу чарующие звуки музыки), попугаев в покачивающихся клетках и застывших в голубом безмолвии красных улыбку залетевшей в комнату весны, -- и среди лабиринта расставленных холстов я вижу расхаживающего по неровному, местами выщербленному полу смиренного служителя прекрасного Зураба Нижарадзе в ковбойской или широкополой театральной голубой шляпе, который садится и на дощечке смешивает масляные краски и будто в беспорядке мастихином переносит их на холст, и понятная только ему закономерность проясняется для меня лишь тогда, когда из пламени, рожденного красками, постепенно возникает изображение обезьяны, глаза, нос, опущенные руки и трепещущие в руках обезьяны красные и синие надувные шары...

Первое слово, которое рождается в сознании человека, смотрящего на картины Зураба Нижарадзе, это слово «поэтично». Зураб Нижарадзе как-то сказал мне, что само по себе ничто не бывает поэтичным. То, что видится нам как поэтичное, стало таким после того, как его сделали поэтичным. Конечно же, определенные ассоциации возникают, и они подобны условным рефлексам, поэтому поэтичны и листопад, и летящие снежинки, хотя... многое зависит от того, как человек смотрит на это. И хотя созданы определенные стереотипы поэтичного, тем не менее, лишь разрушая стереотипы, художник способен создать свой мир поэтичного.

Зураб Нижарадзе естествен и непосредствен и в жизни, и в творчестве. Помню, он рассказывал мне, как однажды приехал в профилакторий чинить машину: «Я невольно наблюдал за владельцами частных автомобилей, кстати, с некоторыми из них я был знаком, слушал, как они разговаривали с мастером, будто с приятелем, на жаргоне мастеровых, старались держаться на равных. Это был искусственный разговор, ведь они обычно не так разговаривают... Я и подумал, что с людьми такое происходит не только здесь. Возможно, такое случается и в искусстве: когда художник изменяет самому себе, когда работает под чужим влиянием и руководствуется чуждыми ему принципами, вот тогда мы и сталкиваемся с навязанными, выработанными под чужим влиянием, пагубными для художника тенденциями».

О том, как Зураб Нижарадзе всей душой отдается тому, что делает, свидетельствует случай, происшедший с ним в редакции совсем еще «молодого» журнала «Дискари». Помню, он вошел в комнату и тотчас включился в шахматную игру. К концу второй партии он вдруг схватился за голову и выскочил на улицу. Ока-

залось, что он приехал на такси, и машина все еще ждала его водителя, опустив голову на руль, безмятежно спал...

В Патардзеули, в доме Георгия Леонидзе, есть комната, в которой стоит старинная тахта с балясинками в изголовье. В детстве я спал на такой же тахте, и когда просыпался — теплым ясным утром смотрела на меня в окно цветущая мальва, а у ног на одеяле мурлыкал пушистый кот. Тахта была покрыта старинным паласом. На одной из картин Зураба Нижарадзе у продавца птиц на тахте — точно такой же палас.

Пожалуй, не только эта картина напоминает мне детство. Для меня каждая картина Зураба Нижарадзе — кусочек того волшебного летающего ковра, который способен помочь мне, преодолев земное притяжение, медленно подняться высоко-высоко, вернуться в детство, прикоснуться к заветной мечте, переселиться в таинственный город цветных грез. Вот почему так дорога мне каждая его картина. В статье о выставке детей Зураб Нижарадзе писал: «Стремление вернуться в детство почему-то сильнее всего проявляется в сфере искусства, в частности изобразительного...».

Порой достаточно одного ласкового слова, одной светлой улыбки, чтобы у человека исправилось настроение. И день прожит не зря, если человек услышал это слово, увидел эту светлую улыбку.

Духовно богатому человеку надолго хватает одной строчки прочитанного где-то стихотворения или излучения одной картины на выставке художника.

Нет смысла в муках творца, если звуки музыки, поэтическое слово или волшебство кисти не нашли отклик в родственной душе...

Нет большого счастья, нежели сознание того, что в городе рядом с тобой живет человек, способный своей кистью подарить тебе неожиданную радость, передать тебе тепло своей души.

В мастерской Зураба Нижарадзе или же на его выставке меня не покидает ощущение того, что трудно выразить словами чувства, которые рождаются в тебе, когда смотришь на светловолосую девушку на его картине или на семяющего в призрачном тумане ослика. Картины Зураба Нижарадзе — огромная радость, праздник, который для меня никогда не кончается.





ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОИСК

ОСОБЕННОСТЬ новаторства, очевидно, заключается еще и в том, что постепенно оно ширится, крепнет, углубляется и становится традицией. То, чему изумлялись вчера, сегодня уже норма, в свою очередь требующая обновления.

Прекрасной традицией постепенно стали концерты Святослава Рихтера в стенах Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, завоевывает зрителя Синтетический театр под руководством Джарджи Баланчивадзе, объединяющий на сцене хореографию с камерным оркестром, звучат концерты-лекции Максима Кончаловского.

*Идея соединить в концерте Музыку, Слово и Живопись появилась у Лали Микава — солистки Грузинской государственной филармонии—еще в 1971 году, а в 1974 году уже была показана одна из первых ее программ, посвященная выдающемуся литовскому художнику и композитору Чюрленису. Вот что пишет об этой композиции Д. Давиташвили: «Впервые грузинская пианистка раздвинула рамки традиционного концерта, используя элементы из «арсенала» других видов искусств. В свое выступление она включила стихи Э. Межелайтиса и показ репродукций Чюрлениса. Так с расширением творческого диапазона был создан Союз трех муз».

Не случайно свои композиции Лали Микава называет театральными камерными концертами. Сегодня в ее репертуаре свыше 20 программ, в каждой из которых есть своя «изюминка», своя логика построения. Каждый раз — это новый спектакль, ничем не похожий на предыдущий.

Частью культурной жизни Тбилиси стали выступления Лали Микава в Метехи, где слушателей встречала музыка Бетховена, живопись Микеланджело, стихи Андрея Вознесенского «Мой Микеланджело». Музыковед Иза Надирадзе писала в журнале «Дроша»: «Композиция концерта продумана с огромным художест-

венным вкусом. Постепенно шлифуются и оттачиваются на наших глазах новые синтетические формы. Исполнители стремятся к впечатляющему единству».

Цикл театрализованных камерных концертов Лали Микава, созданных на базе Музыкального и хореографического общества Грузии, проходил в залах Музея искусств Грузии.

Новую краску в спектакли внесло участие вокального мужского октета «Лилео», исполняющего грузинские народные песнопения, квартета «Пиросмани» и других коллективов Музыкального и хореографического общества Грузии. «Смелое, редкое, поистине новаторское сочетание классики и фольклора», — заметил по этому поводу доктор искусствоведения профессор Григол Чхиквадзе.

«Недавно камерный концертный цикл «Музыка, поэзия, живопись», — отмечала газета «Вечерний Тбилиси» (15 декабря 1983 г.), — автором и ведущим исполнителем которого является пианистка Лали Микава, пополнился новой программой. В Большом зале Тбилисской консерватории состоялась премьера новой композиции «Эта вечная песнь любви» по антологии мировой любовной лирики, составленной Л. Озеровым и С. Магидсон и выпущенной издательством «Молодая гвардия».

Помимо Лали Микава в программе принимали участие артист театра им. Маяковского Эммануил Виторган, флейтистка Нино Хмиадашвили.

Весь вечер с увлечением слушали собравшиеся бессмертные творения Баха и Шекспира, Моцарта и Петрарки, Шумана и Бодлера, Дебюсси и Рильке... Своеобразным открытием явилось знакомство с живописью молодых художниц Наны Мачабели и Мананы Двали».

Лали Микава выступает с сольными концертами с 1965 г. Она является первым исполнителем фортепианных произведений грузинской классики (таких, как «Элегия» и «Прелюдия» З. Палиашвили), пропагандистом современной фортепианной музыки О. Тактакишвили, Р. Габичвадзе, О. Мачавариани, О. Гордели, Н. Мамисашвили. Стереопластинки, записанные фирмой «Мелодия», позволяют судить об ее высоком исполнительском мастерстве.

«Природные данные пианистки, — говорит профессор Тбилисской консерватории Т. И. Чарекишвили, — сочетаются с высоким уровнем ее музыкальной подготовки, ростом мастерства, широтой творческого диапазона и разнообразием репертуара».

Творческий поиск привел Лали Микава в благодарную детскую аудиторию.

«Мы присутствовали при рождении новой формы преподава-

ния, — сказал доктор психологических наук, педагог Ш. Амонашвили после открытого урока в актовом зале 161-й Тбилисской средней школы. — Эта форма призвана не только повысить музыкальную культуру, но и способствовать патриотическому и эстетическому воспитанию учащихся».

Белый квадрат экрана, словно магнит, приковал взгляды учащихся. На экране — стилизованные изображения «Образов букв» грузинского алфавита (по книге писателя Л. Бахтрионели), выполненные специально для данной композиции главным художником Музея искусств Грузии Т. Картвелишвили. Композитор Шота Милорава для новой композиции, ныне уже известной, написал 33 вокализа — на каждую букву алфавита...

«В течение всего учебного года, — говорит Лали Микава, — мы стремились развить эстетическое чувство у младшеклассников, соединить в их восприятии изображение буквы с ее смыслом и звучанием. Так им было легче воспринимать и усваивать новый материал».

Музыковед, доктор филологических наук, лауреат премии им. Генделя Важа Гвахария в статье «Горизонты синтетического искусства» говорит об истоках синтеза поэзии, музыки и живописи, уходящих в глубокую древность. «Сегодня многие ученые, — пишет он, — исследуют проблему взаимодействия цвета и звука. А говоря о слиянии мелодий со словом, мы невольно обращаемся к древним рукописям, испещренным музыкальными знаками (речь идет о том периоде, когда нот в их нынешнем виде еще не существовало)».

Театрализованные камерные концерты Лали Микава «Музыка, поэзия, живопись» способствуют сближению культур и народов. Не случайно 200-летию Георгиевского трактата, этой знаменательной дате братства грузинского и русского народов, была посвящена композиция «Любовь и бессмертие» (по роману Л. Бахтрионели) — о любви Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова. Звучит в исполнении Лали Микава музыка Грибоедова, Алябьева, Листа, Дворжака. На экране неповторимые виды кахетинской усадьбы семьи Чавчавадзе — легендарного Цинандали.

Вокальный коллектив «Лилео» исполняет грузинские народные песни «Ты — лоза виноградная», «Мравалжамиер» и другие.

«Лали Микава называет свои концерты театрализованными, — писала газета «Московский комсомолец» (17 февраля 1984 г.). — Театрален прежде всего сам принцип составления программы. В костюмах и реквизите, атмосфере и настроении, в системе отношений со зрителем, слушателем соблюдается необходимая условность театрального общения».

1500-летию первого грузинского романа была посвящена ее композиция «Цуртавские колокола».

«...Возникает и набирает силу протяжная песня. Чарующее грузинское многоголосие... На вспыхнувшем экране всплывут горы и долины, древние храмы, развалины крепостей. Песня смолкает так же внезапно, как и началась... И только растают последние звуки голоса чтеца, запоет рояль. Музыка А. Мачавариани, Р. Лагидзе заполнит, зачарует зал. У рояля — главный исполнитель и создатель этой музыкально-литературной композиции, солистка грузинской филармонии Лали Микава» — читаем мы в газете «Известия» от 4 апреля 1983 года.

Одна из главных композиций Л. Микава — «Озвученная палитра старого Тбилиси». Неповторимыми образами древнего и вечно юного города навеяна музыка современных грузинских композиторов в исполнении Лали Микава. В колоритное прошлое переносят нас дудукисты — неотъемлемая часть жизни города, воспетого поэтами Грузии и России, стихи И. Гришавили, И. Нонешвили, С. Чиковани, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, живопись прославленных мастеров Пиросмани, Л. Гудиашвили, Е. Ахвледзиани, вокальный октет «Лилео».

«Палитра оказывается озвученной, мелодия предстает картинно, — пишет поэт Лев Озеров в статье «Музы вторят друг другу», опубликованной в газете «Правда» от 26 июля 1983 г. — Все представленные жанры зрители воспринимают синхронно. В этом секрет успеха».

Заметным событием в музыкальной жизни столицы явился концерт, состоявшийся в мае прошлого года в Государственном музее музыкальной культуры им. Глинки и посвященный 50-летию Первого съезда советских писателей. «Лирические диалоги Чаренц—Табидзе» — так называется новая композиция Лали Микава. Пианистка включила в программу фортепианные произведения А. Бабаджаняна и А. Мачавариани. Стихи двух замечательных поэтов, делегатов I писательского форума страны, переведенные мастерами русского слова, читает солист Московской областной филармонии Г. Лисициан. Заслуженные артисты РСФСР, лауреаты международных конкурсов К. и Р. Лисициан исполняют песни Ко-

митаса и Меликяна. Грузинская народная песня звучит в исполнении мужского вокального ансамбля «Лиле»...

Художественный руководитель театрализованных камерных концертов Лали Микава приготовила новую композицию, посвященную 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне («Колокола скорби и ликования»). Можно с уверенностью сказать, что и для этой программы будет найден новый и как всегда неожиданный, впечатляющий ход, который дает нам право называть выступления не концертами, состоящими из отдельных номеров, но спектаклями, подчиненными определенному, цельному замыслу.

Сошлемся на авторитет народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР и премий Ш. Руставели и К. Марджанишвили режиссера Роберта Стура: «Считаю перспективной и емкой формулу, найденную Лали Микава. Много лет слежу за ее выступлениями, жду новых открытий».



ХРОНИКА

ПЛЕНУМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

СОСТОЯЛСЯ пленум правления Союза писателей Грузии, обсудивший организационный вопрос. Пленум открыл председатель правления Союза писателей республики, лауреат Государственной премии СССР Ш. Нишнианидзе.

В связи с тем, что член-корреспондент Академии наук Грузии Г. Цицишвили назначен директором Института ис-

тории грузинской литературы имени Шота Руставели АН республики, он освобожден от обязанностей секретаря правления Союза писателей Грузии.

Секретарем правления Союза писателей Грузии избран известный грузинский писатель Реваз Инанишвили.

В работе пленума принял участие заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе.



ТБИЛИСИ— ГОРОД ЕГО ДЕТСТВА

ИХ МНОГО, замечательных биографий, которые начинались в Тбилиси. Сегодня есть повод поговорить о народном артисте СССР Самуиле Абрамовиче Самосуде — выдающемся дирижере и музыкально-общественном деятеле, личности яркой и самобытной. Имя его сейчас уже не так широко известно, от него словно бы отделилось то, что оставил Самосуд нам в наследство: звучат его записи, трудятся коллективы, которые он создавал, идут оперы — его детища.

Живет на сцене «Иван Сусанин» Глинки, и кажется, что это было всегда. А ведь именно Самосуд выдвинул и осуществил в Большом театре СССР блестящую и дерзкую для 30-х годов идею вернуть истинное, народно-патриотическое содержание и первоначальное, авторское название шедшей в императорской опере «Жизнь за царя». С той премьеры 21 февраля 1939 года началась история бессмертного творения Глинки в советском театре.

Сейчас уже трудно себе представить время, когда не было советских опер и нужно было доказывать возможность их создания и право советских композиторов творить в этом жанре.

«Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») Д. Шостаковича, «Тихий Дон» И. Дзержинского, «Война и мир» С. Прокофьева завоевали признание не только в нашей стране, но и во многих странах мира, стали оперной классикой. С. А. Самосуд не только первым воплотил эти партитуры в сценические произведения, но энергично боролся за них, преодолевая недоверие к новой опере, к новому музыкальному языку у исполнителей, у публики и даже у музыковедов, критиков. Он творчески участвовал в самом рождении опер.

Изо дня в день помогал он молодому и малоопытному И. Дзер-
жинскому в создании «Тихого Дона», первоначальный вариант ко-
торого тогда только что потерпел неудачу на конкурсе оперных
произведений, объявленном Большим театром СССР и «Комсо-
мольской правдой». Самосуд оказался прозорливее жюри, и «Ти-
хий Дон» стал первой советской оперой, получившей всенародное
признание.

В опере «Война и мир» сцена бала Наташи и «Совет в Филях»
написаны С. Прокофьевым по идее Самосуда. Творческая их друж-
ба была крепкой, и многие симфонические произведения впервые
исполнялись Самосудом («Ода на окончание войны», сюита
«Зимний костер», оратория «На страже мира», поэма «Встреча
Волги с Доном», Седьмая симфония и др.).

Хорошо известен гражданский и художнический подвиг музы-
кантов во главе с дирижером К. И. Элиасбергом, игравших Седь-
мую симфонию Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде, и не
так уж часто вспоминают, что первым ее интерпретатором стал Са-
мосуд. Именно тогда, 5 марта 1942 г., в Куйбышеве автор впервые
услышал свое сочинение в оркестровом звучании, которое чрезвы-
чайно высоко оценил. А 29 марта Самосуд дирижировал Седьмой
симфонией Шостаковича впервые в Москве. По свидетельству слу-
шателей, исполнение всех захватило.

Как часто звучит рядом с именем Самосуда это слово — «впер-
вые». Как признавался он сам: «ничто и никогда, пожалуй, так
меня не увлекало и не захватывало, как реальная возможность
стоять у колыбели нового...»¹ Он не только «стоял», он пестовал
новое.

Самосуд обладал поразительной способностью вовлекать людей
в творческий поиск и объединять для решения художественного
замысла, поднимать их над суетностью и буднями. Казалось, он
искал трудности и в преодолении их черпал силы и вдохновение.

В отличие от многих дирижеров он обычно не уединялся в
перерывах репетиций и в антрактах спектаклей, а беседовал с му-
зыкантами и другими работниками театра, с режиссерами, худож-
никами, писателями, которые нередко приходили на его репетиции.
Он умел в общении многому учиться и многое давал сам.

Он любил вспоминать эпизоды из своей творческой жизни, ин-
тересные встречи (и с каким блестящим юмором и самоиронией!),
вспоминал и Тифлис... Ведь все начиналось в Тифлисе. Здесь

¹ Самосуд С. А. Минувшее встает передо мною... «Советская
музыка», 1965, № 9, стр. 80.

2 (14) мая 1884 года в семье дирижера, бывшего военного капельмейстера, он родился.

Ранние детские годы Самосуда были полны музыкальными и театральными впечатлениями. Он даже участвовал в одном из опереточных спектаклей. Начальным музыкальным образованием сына занимался сам отец, обучавший его игре на корнет-а-пистоне, а затем на виолончели. Сольные выступления мальчика начались в шестилетнем возрасте, а в 10 лет он уже выступал как солист на корнет-а-пистоне в Тифлисе, Батуми, Баку и других городах, где приходилось дирижировать А. Е. Самосуду-отцу.

Мальчик рос очень любознательным, но материальных условий для широкого и всестороннего образования детей (а их было в семье трое) Самосуды не имели. В 1894 году отец умер — единственный кормилец семьи, и детству пришел конец. Подростка Самосуда приняли в оркестр на службу.

С 1896 г. он совмещает работу с занятиями в Музыкальном училище Тифлисского отделения Русского музыкального общества, будущей консерватории, а каникулы проводит в концертных поездках по ближним городам и курортам.

«Первым моим учителем и сердечным другом, — вспоминал Самосуд, — был незабвенный создатель классической грузинской оперы композитор З. Палиашвили. Одно время я играл с ним в оркестре Театра грузинского дворянства. В этом оркестре, которым руководил И. Палиашвили (брат), З. Палиашвили был валторнистом, а я играл на трубе»².

В классе виолончели его учителя — В. Доброхотов и А. Поливко — часто поручали Самосуду уроки с младшими, доверяли и руководство ансамблями. Директор училища Н. С. Кленовский предложил ему попробовать себя в дирижировании ученическими оркестрами (Кадетского корпуса, Александровского учительского института и другими). Приобретя известный опыт, он начал выступать иногда и с местным симфоническим оркестром. Так начиналась его дирижерская деятельность.

Музыкальная жизнь Тифлиса создавала благоприятные условия для формирования художественного вкуса и расширения музыкально-театрального кругозора. В этом далеко не последнюю роль играло приобщение к музыкальному национальному быту, богатейшему грузинскому многоголосию в частности.

В спектаклях Казенной оперы и Оперного товарищества были представлены русская и западная классика. Дирижировали А. А.

² Самосуд С. А. Грузинские оперы будут поставлены в Большом театре Союза ССР. «Правда», 1937, 13 янв., № 13.

Бернарди и Л. П. Штейнберг, который выступал и в симфонических собраниях наряду с молодым чехом В. Талихом. В концертах звучала камерная и хоровая музыка. В городе часто гастролировали такие мастера оперного искусства, как Н. С. Ермоленко-Южина, И. В. Тартаков, М. И. и Н. Н. Фигнеры, Ф. И. Шаляпин, выдающиеся артисты русской драмы К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, В. П. Далматов.

В феврале-марте 1906 года в Тифлисе проходили гастроли Товарищества новой драмы под руководством и при участии В. Э. Мейерхольда со спектаклями «Смерть Тентажиля» Метерлинка, «Комедия любви» и «Привидения» Ибсена, «Ганнеле» Гауптмана.

Впечатления от театра Мейерхольда ошеломили Самосуда. «Быть может, именно тогда, — вспоминал он, — в те дни и ночи, я оказался навсегда заморожен магией театра, и впервые мелькнуло ощущение (впоследствии ставшее убеждением), что роль музыканта в театре не только в том, чтобы водить смычком»³. Занятый по горло Самосуд (днем учеба, вечером — игра в оркестре), как только удавалось, бежал в театр, «чтобы повариться в театральной кухне».

Тогда же пробудилось в будущем дирижере отвращение к театральным штампам, укрепившееся со временем в твердое неприятие всяческого проявления косности и рутины в искусстве.

Вспоминал уже пожилой Самосуд, как с высоты своих 22-х лет обрушивался на спектакли Казенной оперы и самодовольных «императорских» гастролеров на страницах одной из тифлисских газет под псевдонимом «Аккорд».

В 1906 году он окончил училище и отправился по совету своего педагога А. Поливки на его родину в Прагу для совершенствования у профессора Г. Вигана. Там Самосуд одновременно посещал и класс профессора К. Коваржовича, в то время главного дирижера Пражской оперы.

Кончился тифлисский период жизни Самосуда, но на всю жизнь он сохранил самые нежные чувства к родному городу, к Грузии и ее культуре. И когда в 1936 году он был назначен художественным руководителем и главным дирижером Большого театра Союза СССР, составляя вместе со Всесоюзным комитетом по делам искусств полуторагодовой репертуарный план, Самосуд включил в него оперы З. Палиашвили «Абесалом и Этери» и «Даиси», а также заказанную композитору И. Тускиа советскую грузинскую оперу «Арсен».

³ Самосуд С. А. Минувшее встает передо мною... «Советская музыка», 1965, № 9, стр. 77.

5 января 1937 г. на сцене Большого театра СССР оперой «Даиси» Грузинский государственный оперный театр открыл десятилетие грузинского искусства в Москве. Самосуд горячо приветствовал ее как радостное событие. «Мне трудно говорить без волнения о грузинском искусстве, — писал он в те дни, — так как с ним тесно связана и моя жизнь и мои художественные идеалы. Я ведь сам родился в Тбилиси и там получил свое музыкальное образование»⁴.

Огромное впечатление произвел на него спектакль «Абесалом и Этери». Он сравнивал эту оперу по значению для своей национальной культуры и по масштабу с «Русланом и Людмилой» Глинки.

Восторженный прием, оказанный москвичами этой и другим операм («Даиси» З. Палиашвили, «Дареджан Цибери» М. Балашвили, «Кето и Котэ» В. Долидзе), укрепил намерение осуществить постановку грузинской оперы на русской сцене. Занятый подготовкой «Ивана Сусанина» Глинки, а затем «Иоланты» Чайковского, многими административными и музыкально-общественными делами, Самосуд поручил работу над спектаклем «Абесалом и Этери» дирижеру А. Мелик-Пашаеву, режиссерам М. Квалиашвили и Р. Сибиричу. Оформлял его художник В. Рыдин.

19 января 1939 г. опера З. Палиашвили «Абесалом и Этери» впервые прозвучала на русском языке (в переводе М. Квалиашвили и Р. А. Ивнева). Самосуд сделал все, чтобы спектакль удался. «Большой театр затратил на постановку около миллиона рублей, все нужные материалы были в нашем распоряжении, не говоря уже о замечательном оркестре, хоре и балете», — вспоминал режиссер М. Квалиашвили⁵.

Работая в Ленинграде в Малом театре оперы и балета и в Москве в Большом театре СССР, в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а затем на Всесоюзном радио, Самосуд охотно сотрудничал с грузинскими деятелями театра: с певцами П. Амираншвили, Д. Бадридзе, Д. Гамрекели, В. Канделаки, Т. Талахадзе, с режиссерами М. Квалиашвили, Т. Шарашидзе и многими другими.

В двадцатые-тридцатые годы Самосуд был ленинградцем, в тридцатые-шестидесятые годы — москвичом. Но Грузия навсегда осталась его родиной, а Тбилиси — городом его детства и юности, городом, где начался его большой и славный творческий путь.

⁴ Самосуд С. А. Грузинские оперы будут поставлены в Большом театре Союза ССР. «Правда», 1937, 13 янв., № 13.

⁵ Квалиашвили М. Воспитание оперного режиссера. Тбилиси, 1975, с. 50.

КАЙСЫН КУЛИЕВ



Советская литература понесла поистине тяжелую утрату.

После неизлечимой тяжелой болезни ушел от нас Кайсын Кулиев — еще полный неиссякаемой творческой энергии, безгранично влюбленный в жизнь, Родину, друзей, в красоту и все прекрасное, один из самых замечательных поэтов великой Советской страны.

Вместе со всем нашим народом он перенес бесчисленное множество бед и испытаний в Великую Отечественную войну и в последующие годы, но ни разу не дрогнула его мужественная душа, душа истинного патриота. На протяжении четырех десятилетий на всю страну звучал голос Кайсына Кулиева, истинного мастера поэтического слова.

Безгранично любил он Грузию: ощущая огромное

духовное родство с грузинским народом, посвящал множество стихов своим грузинским друзьям, поэтам. Наши народы, живущие на южных и северных склонах Кавказских гор, состоят в кровном родстве друг с другом, — с гордостью говорил он обычно.

В последние годы жизни он особенно много думал о Грузии, неоднократно обращался к грузинской литературе, как современной, так и классической. Он был влюблен в грузинскую поэзию, переводил ее на свой родной язык, посвятил грузинским поэтам прекрасные статьи, часть из них в последние годы была опубликована и в грузинской прессе. Он был ближайшим и преданнейшим другом грузинских поэтов.

Ираклий АБАШИДЗЕ



«ДРУЖБА ЛИТЕРАТУР — ДРУЖБА НАРОДОВ»

В СТОЛИЦЕ Грузии прошла встреча грузинских и эстонских писателей.

Этим творческим диалогом Союз писателей Грузии открыл цикл встреч с представителями братских республик, посвященных XXVII съезду КПСС и XXVII съезду Компартии Грузии.

В Союзе писателей республики состоялась встреча за «круглым столом», посвященная одной из актуальных проблем — взаимообогащению и взаимодействию братских литератур.

«У нашей встречи есть свой девиз: «дружба литератур — дружба народов», — сказал, приветствуя эстонских коллег, председатель правления Союза писателей Грузии Ш. Нишнинадзе. — Девиз этот составляет нерв и всей нашей совместной рабочей программы. Дни, отведенные нашим встречам, будут насыщены беседами о проблемах переводов».

На встрече также выступили руководитель делегации эстонских писателей Айн Каалеп, секретари правления Союза писателей Грузии Дж. Чарквани и В. Асатиани, председатель Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии О. Нодия.

О крепнущих контактах двух братских литератур говорили переводчица М. Пау, поэт А. Эхин, специалист по

грузинскому языку и литературе У. Уссисоо.

ПУШКИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ТРАДИЦИОННЫЙ XIX пушкинский праздник поэзии, который проходит по местам, связанным с именем великого русского поэта, пришел и на грузинскую землю.

По традиции пушкинский праздник поэзии в Грузии организовал студенческий клуб «Репортаж» Грузинского театрального института имени Шота Руставели совместно с учащимися профтехучилища имени Ш. Гамцемлидзе. Юноши и девушки пришли к памятнику поэта в сквер его имени и возложили цветы.

О творчестве Пушкина, его тесных связях с Грузией, вдохновлявшей поэта на создание многих шедевров, говорили в своих выступлениях ректор Театрального института профессор Э. Гугушвили, поэт Т. Джангулашвили, народная артистка республики Т. Ишхели, народный художник Дагестана и заслуженный художник Грузии М. Магомедова, заслуженный художник республики К. Гурули и другие.

Вечер памяти поэта продолжился в Доме литературных взаимосвязей — Пушкинском мемориале.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ МИХАИЛА КВЛИВИДZE

В МОСКВЕ, в Большом зале Центрального Дома литераторов состоялся творческий

вечер известного грузинского поэта Михаила Квливидзе.

Председательствовала на вечере писатель, критик и литературовед Лидия Либеди́нская, она же рассказала присутствующим о творческом пути поэта, который много лет жил и работал в Москве.

С чтением русских переводов стихов М. Квливидзе выступили поэты Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Марк Лисянский. Они дали высокую оценку лирической поэзии грузинского поэта.

Затем выступил Михаил Квливидзе. Он прочитал свои стихи на грузинском языке и в переводе на русский, ответил на вопросы собравшихся.

На вечере присутствовал Секретарь Президиума Верховного Совета СССР тов. Т. Ментешашвили.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

СЕВЕРО - ОСЕТИНСКОЕ издательство «Ир» выпустило в свет «Антологию осетинской поэзии» на русском языке.

В сборник включены отдельные главы из эпоса нартов, охотничьи, обрядовые, исторические и героические песни, песни о любви и дружбе, образны народной поэзии.

В антологию включены поэтические произведения как классиков осетинской литературы, так и современных поэтов.

Среди переводчиков имена таких известных русских поэтов, как А. Ахматова, Н. Заболоцкий, П. Антокольский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава и другие.

В сборнике приводятся краткие биографические справки об авторах, представленных в антологии.



ПОЭЗИЯ БЕССМЕРТНА

У ЗАПАДНЫХ ворот столицы Грузии открыт памятник «Тигр и юноша».

«Баллада о тигре и юноше» родилась в глубокой древности, и, передавая из уст в уста, народ по-своему отшлифовывал ее.

«Именно этот шедевр грузинской поэзии, — сказал автор памятника, народный художник Грузии, лауреат Государственной премии СССР и премии имени Ш. Руставели Э. Амашукели, — положен в основу скульптуры, над которой я работал шесть лет».

Тбилисцы и гости столицы Грузии пришли на открытие памятника. Взору собравшихся предстали воплощенные в бронзе тигр и юноша, вознесшиеся на каменный пьедестал. На нем по воле скульптора и его постоянного соавтора — лауреата Государственной премии СССР, архитектора

В. Давитая вычеканен отрывок из бессмертной поэмы.

Право открыть памятник было предоставлено Герою Социалистического Труда, поэту-академику Ираклию Абашидзе.

На открытии памятника присутствовали товарищи Э. Шеварднадзе, Г. Андроникашвили, Г. Габуня, П. Гиладшвили, Д. Картвелишвили, О.

Черкезия, Т. Мосашвили, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР В. Сивадзе, заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе, председатель Тбилигорисполкома З. Месхишвили, второй секретарь Тбилисского горкома партии Н. Гургенидзе.

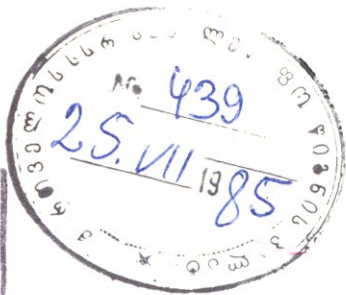
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

КИРИА Джемал Самсонович. Род. в 1940 г. Окончил филологический ф-т ТГУ. Автор романов «Эсхир», «Вечный всадник», сборника рассказов «Первый перевал» и др. Старший редактор издательства ТГУ. Член СП.

БРОЕВ Валерий Карамович. Род. в 1941 г. в Тбилиси. Окончил исторический ф-т Тбилисского педагогического ин-

ститута им. А. С. Пушкина, работает в грузинской газете «Тбилиси». Курд по национальности, в своих произведениях он рассказывает о жизни родного народа. Пишет на грузинском языке. Печатается с 1981 г. в республиканской прессе и периодике. Предлагаемый рассказ — первая публикация на русском языке.

**КОНТРОЛЬНЫЕ
ЭКЗЕМПЛЯРЫ**



Сдано в набор 16.V.85 г. Подписано к печати 9.VII.85 г. Формат 84×108^{1/32}. УЭ 07976. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5.550. Заказ 1127. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. МИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

ИНДЕКС 76117

26-85

85-439

04935340
2022010033

